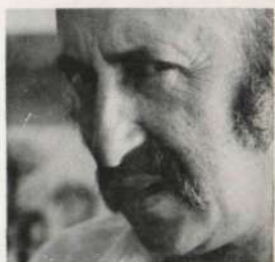


ВРЕМЯ ИДМБ 42 1979

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- "ИСКУПЛЕНИЕ" ФРИДРИХА ГОРЕНШТЕЙНА
- ДИАЛОГИ ПРАВОСЛАВНОГО И ЛИБЕРАЛА
- СТУКАЧИ И ГОНГ СПРАВЕДЛИВОСТИ
- ДЯДЯ САНДРО И ИОСИФ СТАЛИН
- ИСПОВЕДЬ НА ПЕПЕЛИЩЕ

Кукольный дом Юрия КРАСНОГО



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

42
1979 ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.
10033 T. (212) 781-05-09

Представители журнала:

Англия Александр Штротмас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road R «trick, Briohous»
W. Yorkshire H06 3PZ ENGLAND.

Западный Берлин Лотар Ролл
Buschkruflatlee 98. 1000 Berlin 47, t. 606 77-61

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474 9773

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ефим ЭТКИНД
Рождение мастера. О прозе Фридриха Горенштейна.... .5
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН
Искупление.11

ПОЭЗИЯ

Игорь БУРИХИН
Эдем и Гоморра.95
Илья БОКШТЕЙН
Улыбкой зачеркнулся.100

ФИЛОСОФИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

С. МАСЛОВ
Со-чувствие.104
Дора ШТУРМАН
Стучачи и гонг справедливости.133
Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС
Сталин на чегемском карнавале.151

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Исповедь на пепелище.170

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Кукольный дом Юрия Красного.210

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Григорий ПОМЕРАНЦ
"Время и мы" и фанатики всасывания.219

Коротко об авторах221

...Не говоря ничего по существу романа, он расспрашивал меня о том, кто я таков и откуда взялся, давно ли лишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему?

М.Булгаков.

"Мастер и Маргарита". (1—13)

ЕфимЭТКИНД

РОЖДЕНИЕ МАСТЕРА

О прозе Фридриха Горенштейна

У советских писателей репутации обычно фальшивые. Есть множество знаменитостей, чьих сочинений никто "ни при какой погоде" не читал; они увенчаны почетными званиями, увешаны орденами, выступают на мировых конгрессах — кто, однако же, может похвалиться, что знает книги Берды Кербабая, Анатолия Софронова, или Георгия Маркова? Имена их гремят: ведь это они ведают Союзом писателей и вообще литературной политикой в Советском Союзе. Имена гремят, но не имеют литературного обеспечения. Несколько лет подряд Союзом писателей в Ленинграде руководил Олег Шестинский, теперь его же возглавляет Анатолий Чепуров. Кто они такие, чем прославили русскую словесность? Ничем. Это искусственные фигуры, подставленные начальством для симуляции литературы. И Шестинский и Чепуров продуцируют рифмованные строки, приносящие лишь один вид пользы: гонорар авторам и гонорары всем тем шарлатанам в квадрате, которые эти подделки переводят на многочисленные языки народов СССР и социалистических стран. Создается

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

имитация литературной и общественной жизни: выходят сотни книг, их раскупают библиотеки (полмиллиона библиотек!), восхваляют критики, экранизируют кинематографисты, композиторы кладут на музыку... А все это — обман. Фальшивка.

Есть немало писателей, ведущих двойную жизнь, существующих одновременно — в разных мирах. Так, еще недавно советская публика знала Александра Галича как автора популярных пьес и киносценариев; тот же Александр Галич был блестящим автором (и исполнителем) нелегальных (но всем известных) песен, поднявших его на одно из первых мест в современной русской литературе; два Галича — и каких разных! Василий Гроссман — видный и вполне официально признанный советский прозаик, но главные его произведения вышли (или еще готовятся к выходу) на Западе: грандиозный роман "Люди и судьбы", непримиримо-разоблачительная повесть "Все течет"; два Гроссмана! Анне Ахматовой присвоен в СССР ранг классика, но ее трагический "Реквием", посвященный жертвам великого террора, издан только за границей; без "Реквиема" и запрещенных советской цензурой стихотворений Ахматова — другая. Почти все — другие. Даже официальный основоположник советской литературы Максим Горький — другой; его "Несвоевременные мысли", да и еще многое русскому читателю неизвестны. Другой — Булгаков. Другой — Есенин. Другой — Сельвинский. Другой — Мандельштам. Все другое. Вся литература другая. Искаженная. Фальсифицированная.

Есть в этой фантасмагорической стране возможности для чудес. Например, может вдруг родиться на свет зрелый писатель — совсем готовый, как вооруженная Афина из Зевесовой головы. Внезапное появление искушенного мастера так же удивительно, как рождение взрослого человека, минуящего детство, годы учения и становления. Так возник Александр Солженицын; когда в 1962 году в "Новом мире" появился "Один день Ивана Денисовича", читатели журнала были ошеломлены: неужели этот опытейший художник — начинающий писатель, рязанский учитель математики? Читатели не

знали, что Солженицын (говоря словами Пушкина о Дельвиге) "гений свой воспитывал в тиши" и что он до "Ивана Денисовича" уже написал несколько томов, хранившихся в глухом подполье — среди них "В круге первом", стихи, пьесы, да и часть "Архипелага ГУЛАг". Вот как у нас рождаются.

Возникновение из пустоты писателя Фридриха Горенштейна тоже событие фантасмагорическое. Я впервые прочел его прозу в журнале "Континент", 1978, № 17 — повесть "Зима 53-го" — и прямо-таки ахнул: откуда взялся такой зрелый, строгий, уверенный в своих силах, скромный мастер? Автор, который позволяет себе со спокойным достоинством повествовать о шахтерах и шахтах, не боясь наскучить читателю техническими подробностями и замедленными описаниями; который видит жизненную значительность в ничтожных, казалось бы, деталях, наряду с событиями исторического масштаба; который малые страдания тела умеет сопрягать с порывами духа — такой автор сразу занимает почетное место в современной русской литературе, и его вчера еще неведомое имя становится в один ряд с громкими. Как же это его даже в Самиздате не было? В том же "Континенте" я прочел крохотную биографическую справку: родился в 1932 году в Киеве, окончил сценарные курсы, опубликовал в журнале "Юность" (1962) рассказ "Дом с башенкой" — значит, семнадцать лет назад, и за эти семнадцать лет ничего больше не печатал. Позднее узнал я, что по его сценарию Андрей Тарковский поставил известный фильм "Солярис" (1972), а еще позднее — что его перу принадлежат сценарии восьми поставленных фильмов (из них три телевизионных). Это, так сказать, официальное лицо Ф. Горенштейна, знакомое властям; впрочем, им знакома еще и пьеса "Волемир", которую собирался ставить театр "Современник", да спектакль был запрещен. Но есть у Ф. Горенштейна другое лицо — писателя, который тоже "гений свой воспитывал в тиши" и в Советском Союзе даже не пытался печатать свои книги. А книги составляют уже солидное собрание сочинений: рассказ "Старушки" (1964), повести "Зима 53-го" (1965), "Ступени" (1966), "Искупление" (1967), пьеса "Споры о Достоевском"

(1973), да еще два огромных по размеру романа, которые я пока не имею права называть. Вот теперь кое-что из этого списка начинает появляться.

Ну, не чудеса ли? В стране, где нельзя писать друг другу писем — их читают агенты полиции. Где нельзя писать дневников — в любой час придут с обыском и заберут, а неосторожного автора посадят. Где нельзя спорить с друзьями — микрофоны в стенах и потолке. В этой самой стране неутомимо и безнадежно, роман за романом, пишет неизвестный автор, пишет в убежденности, что его проза людям нужна, и если не сегодня, так завтра до них дойдет. По моим приблизительным подсчетам, Ф. Горенштейн за пятнадцать лет написал не менее ста авторских листов (в "Войне и мире" листов — восемьдесят). И в каких условиях! Когда зарабатываешь на жизнь семьи иным способом, не этим нелегальным пером... Когда свое писание надо тщательно скрывать от всех, и даже говорить о нем вслух нельзя... Когда проводишь целую писательскую жизнь в литературе, не участвуя в ее процессе, не слыша критики — ни доброжелательной, ни даже обозленной... Когда постоянно ведешь полемику, — философскую, политическую, художественную — и все это словно во сне: твоего голоса никто не слышит, — тебя нет, ты бесплотный призрак... Когда тебе самому кажется, что ты нашел важные ответы на сомнения и вопросы современников, и ответы эти ты сформулировал как мог полнее и отчетливее, — и кто же их услышал? Два-три твоих самых близких, самых надежно-молчаливых собеседника?

Теперь молчанию конец. Фридрих Горенштейн входит в литературу, и я хочу сказать читателю, что это — торжественный момент: мастера рождаются редко.

Говоря "мастер", я имею в виду многое, и меньше всего умение складно и ловко писать беллетристику — умение, которое в последние десятилетия распространилось очень широко. Теперь все пишут складно и ловко (кроме совсем уж дремучих провинциальных графоманов). Для меня "мастер" — слово старинное, воскрешенное и обновленное М. Булгаковым. Мастер — это художник, владеющий своим ремеслом,

и это мыслитель, надеющийся научить людей тому, во что сам он верует, и это творец, умеющий создать собственный мир, и это правдолюбец, которому сатанинским началом Вселенной представляется только ложь.

Фридрих Горенштейн исполнен безоговорочной веры в человека: злобное, мелко-ненавистническое, паскудное в конце концов уступает место доброте и свету. Ф. Горенштейн пишет о тех людях, которых иногда называют "маленькими": так вы его старушки, которые, казалось бы, терпеть не могут друг друга; Ким — из "Зимы 53-го", который, как все советские обыватели, благоговеет перед Сталиным, ненавидит "всяких космополитов", осуждает отца-предателя и почитает начальство; Сашенька, которая патологически ревнует мать и готова погубить ее из этой ревности, переходящей в ненависть. И эти люди, как бы они ни были ожесточены или развращены окружающим злом, просветляются любовью и открываются добру. Зло — в уродливом мире придуманных общественных отношений и в той подлой лжи, которой сочтется всякая официальная фразеология ("Весь коллектив работает напряженно, — рубил воздух ладонью "хозяин", — пробиваемся к богатым рудам... Вследствие тяжелых геологических условий, план временно не выполнен... Это была политическая ошибка, встретить новый год сталинской пятилетки с потушенной звездой на копре... Весь коллектив несет трудовую вахту..." — всю эту пошлость несет начальник шахты в "Зиме 53-го", чтобы скрыть преступление, — гибель шахтеров). Зло — в уродливо-искусственном обществе, а правда и красота — в природе. В природе мира и человека. Придуманный социальный строй обслуживается придуманной системой фраз, называемой "идеология"; это — зло второго яруса, растлевающее душу, в особенности, хрупкую, легко доверчивую душу юного человека: Сашеньки, Кима. Но зато в юном человеке природные силы неудержимы, и они без труда сметают ложь и уродство. Самая могучая из этих природных сил — любовь, и в конце повести "Искушение" это она, любовь, торжествует, игнорируя условности поколений, классов, цивилизаций, нравов, привычек.

Ф. Горенштейн решительно отвергает всякие ложные, измышленные построения; естественное несет добро. Поэтому он противник идеологии и идеологов; даже Достоевский его привлекает до той поры, пока он не выработал себе искусственной идеологической системы, — Горенштейну близок автор "Бедных людей", не автор "Братьев Карамазовых" или "Бесов". Не знаю, что думает Ф. Горенштейн о книгах А. Зиновьева; вероятно, они ему чужды. Дело в том, что у Зиновьева человек до конца социален, им потому и удается так хитро манипулировать, что природа — не сопротивляется; для Зиновьева советский режим до такой степени обеднил, уплощил, обездуховил человека, что теперь литература невозможна — о таких людях романы писать нельзя. ("Донос, измена, предательство, обман и т.п.... не рожают проблем, достойных быть проблемами великого искусства, в обществе, в котором нравственность не образует социально-значимого механизма". Светлое будущее, стр. 167.)

Ф. Горенштейн не только умеет писать романы об этих людях и даже о самых мерзких подонках самого мерзкого из обществ, но даже демонстративно превращает гадкую, себялюбивую, растленную советской демагогической пропагандой Сашеньку чуть ли не в мадонну. Потому что в единоборстве с фальшивой социальной конструкцией одерживает победу святая сила Природы. Пусть в заключение этого предисловия прозвучат слова Фридриха Горенштейна из его повести "Зима 53-го":

"Любовь к окружающему миру, к существованию, пусть подсознательная, есть последняя опора человека, и, когда природа отказывает ему в праве любить себя, любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и нравственней человек, тем строже с него спрашивает природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к человеческой чистоте, чистота эта существует даже в самые варварские времена".

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ИСКУПЛЕНИЕ

Мать сидела на табурете, привалившись спиной к столу, и красными от мороза руками стаскивала кирзовый сапог. Всякий раз, когда мать, придя с работы, начинала стаскивать сапог, Сашенька замирала, глотая слюну, с колотящимся сердцем ожидая лакомых кусочков. Был последний день декабря сорок пятого, уже начинало темнеть, и Ольга принесла из кухни копилку.

То, что их жилища Ольга была дома, сердило Сашеньку, она знала, что Ольга не уйдет к себе на кухню, а будет торчать у стола, пока мать не даст и ей что-либо.

Мать левой ладонью охватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки упиравшись в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшенной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было четыре котлеты: две совсем целые, подернутые хрустящей корочкой, две же были примяты ступ-

Отрывок из повести.

ней, и мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек-в-кусочек. Затем она подтянула ватную штанину и начала отстегивать пришилленный булавками к чулку промасленный мешочек. Сладкий, волнующий запах зашекотал Сашенькины ноздри, под ребрами защемило, и она сглотнула слюну. Ольга тоже сглотнула слюну, да так громко, что в горле что-то хрустнуло, и Сашенька посмотрела на нее со злобой.

Сашеньке было шестнадцать лет, и была она довольно миловидна, но когда начинала сердиться, а сердилась Сашенька часто, бледное личико ее покрывалось румянцем, глазки блестели, губки иногда вытягивались вперед, а иногда приоткрывались, обнажая мелкие аккуратные зубы. Сашенька страдала, но где-то в глубине души испытывала и удовольствие всякий раз, приводя себя в такое состояние.

Ольгу Сашенька ненавидела так, что случалось, от гнева начинал болеть затылок.

Ольге было лет тридцать восемь, но выглядела она старше. Это была тихая покорная женщина, однако покорность ее временами переходила в наглость, так как, не помня и не чувствуя обид, она не знала и стыда. Работала она поденно, мыла полы, стирала белье, по воскресеньям и церковным праздникам ходила на паперть и потом сортировала у себя за ширмой медяки, черствые куски пирога, застывшие вареники из черной муки. У Сашеньки с матерью Ольга поселилась тоже благодаря своей покорной наглости. Однажды она пришла работать: вымыла пол, принесла из сарая два мешка торфа, потом легла за печь и уснула. Был морозный ноябрьский вечер, а на Ольге были рваные чулки и галоши, подвязанные бечевкой. Мать ее пожалела, не стала будить. К утру Ольга расхворалась, кашляла, тяжело дышала. Дня через два кашель прошел, однако Ольга так и осталась жить за печью на кухне. Постель ее состояла целиком из вещей, днем на нее надетых. Под низ она подстилала две юбки, солдатскую гимнастерку, солдатскую байковую рубаху, телогрейка заменяла подушку, а платок — одеяло. В общем, с одеждой у нее обстояло неплохо, туго было с обувью, в одних галошах ломило от мороза пальцы, хоть она кутала ноги тряпьем и бумагой.

Но еще более Ольги ненавидела Сашенька ее ухажера Васю, которого Ольга подобрала где-то на паперти замерзающего и тоже привела в дом. Вася был крестьянин высокого роста, с широкими как лопата руками, волосатыми ушами и толстой, тяжелой шеей. Но глазки на его лице были маленькие, линия голубые, всегда испуганные и просящие.

— Как же так, Ольга, — сказала мать. — Как же ты человека в чужой дом поселяешь?.. А может, он вор или заразный...

— Нам до весны, хозяйка, — отвечала Ольга, отпаивая Васю кипятком, — Христа ради, хозяйка...

Вася так замерз, что не мог говорить, лишь испуганно косился на мать и с мольбой смотрел на Ольгу, точно прося, чтобы она его защитила. Вася остался.

Сашенька после узнала, что сбежал он из села, где соседка, как сказала Ольга, по злобе написала на Васю бумагу, будто он служил в оккупацию полицаем. Вася был совсем тихий, тише Ольги, и если не ходил на заработки, то сидел на кухне за ширмой, которую им дала мать. Ольга поставила в своем уголке круглый столик, весь ноздреватый, изъеденный древесными червями, Вася из досок сколотил скамеечку; на стену они повесили бумажные цветы, иконку и портрет маршала Жукова, вырезанный из газеты.

Пока мать снимала с ноги промасленный мешочек, Сашенька с тревогой думала, на заработках ли Вася, или он сидит за ширмой. В мешочке оказались пончики.

— Это по случаю Нового года, — сказала мать. — Для состава пекли...

Мать работала посудомойкой в милицейской столовой и потому руки у нее были красные, распаренные кипятком из кухонных чанов, а на морозе они краснели еще сильнее и опухали в суставах.

Сашенька смотрела, как мать достает пончики, раскладывает по тарелке и красные, распухшие пальцы ее теперь лоснились от жира. Пончиков было семь. Мать сложила их кружком вдоль ободка тарелки и облизала с ладоней мазки повидла.

Сашенька прикоснулась к пончику, он был еще теплый и

такой мягкий, что палец сразу утонул в нем, а изнутри полезла колбаска повидла.

— Подожди, — сказала мать. — Сперва кашу и котлеты разогреть надо... Ольга, вот тебе с Васей, — она положила на другую тарелку целую котлету и несколько кусочков от раздавленной. Котлета эта была с одного бока несколько пережарена, но Сашенька любила погрызть такую хрустящую мясную корочку. К котлете мать добавила три комка каши, затем, подумав, добавила еще комок.

— Вася, — радостно сказала Ольга. — Ты выходи, Вася, хочаяка угощает... Пожируем...

Вася вышел из-за ширмы, но в комнату не вошел, остановился на пороге. Сашенька почувствовала, что у нее начинает учащенно колотиться сердце.

Мать взяла два пончика и положила их на Ольгину тарелку.

— Угощайся, — сказала мать. — Первый год без войны встречаем...

Мать улыбнулась, и Вася тоже улыбнулся. От него исходил кислый запах, какой бывает в неопрятном бедном жилье. Сашенькино сердце понеслось так, что дух захватило, точно Сашенька бежала с крутой горы и не могла остановиться.

— Пусть он уйдет, — крикнула Сашенька. — От него воняет... Когда я у стола... Пусть он всегда... За ширму... И она...

Вася затих на пороге, пригнув голову, а Ольга шагнула к нему, чтоб защитить в случае надобности, и этот здоровый запуганный мужик еще сильнее разозлил Сашеньку.

— Мой отец погиб за родину, — крикнула она матери высоким голосом, как на митинге, — а ты здесь немецкого холуя прячешь.

Перед ней мелькнуло лицо матери с подпухшими глазами, мелькнул растрепанный жиденький клубок волос на макушке, и Сашенька вдруг впервые поняла, что ее сорокалетняя мать совсем постарела. На мгновение ей стало жалко мать, она ослабила грудь, напряженную от злобы, но это позволило также передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха в легкие и закричать громко, уже нечто неразборчивое, как не раз хотелось кричать, испытывая тоскливую слад-

кую истому, которая уже больше года терзала Сашеньку, лишь стоило вечером потушить коптилку. А иногда, просыпаясь ночью, она стискивала зубы; ей хотелось, чтоб кто-то большой, с неясным лицом взял грубыми руками ее тело и мял и рвал на части. В последнее время Сашенька начала думать о "ястребке" Маркееве.

"Ястребками" называли допризывников из истребительно-го батальона, который нес патрульную службу в городе.

Сашенька ненавидела Маркеева, но прошлой ночью ей приснилось, будто Маркеев прижимает ее к какой-то стене, и это было так сладко, что, когда она проснулась, все тело еще несколько минут дрожало в ознобе.

Озноб охватил ее и теперь, она сгребла кашу, котлеты и пончики из всех тарелок, вывалила на стол и начала перемазывать в ладонях, глядя, как меж залоснившихся пальцев ее ползет клейкая от повидла масса. Ольга увела Васю за ширму, они там сидели тихо, даже не шептались, потрескивала коптилка, мать стояла, устало опустив руки, босая, в ватных штанах, закатанных до колена, и Сашенька тоже начала успокаиваться, стало легче и дышалось свободнее...

— Ногами не топчи, — сказала мать. — Повидло и кашу потом от пола не отскребешь...

Раньше мать била Сашеньку, но недавно Сашенька заметила, что мать ее начала бояться, особенно, когда Сашенька впадала в ярость.

Сашенька отряхнула с пальцев остатки клейкой кашицы и пошла на кухню умываться. За ширмой шепнула что-то торопливо Ольга и быстро замолкла на полуслове, словно сама себе зажала рот.

— Попрятались, скоты безрогие, — крикнула Сашенька, — мой отец голову сложил, а эти тут прячутся...

Вода в ведре покрылась коркой льда. Сашенька взяла кружку, разбила лед, зачерпнула и, склонившись над тазом, набрала ледяной воды в рот, плеснула на руки. Она стащила нитяной свитер, закатала рукава майки-футболки, огрызком хозяйственного мыла тщательно вымыла лицо, шею и, оття-

нув майку, вымыла грудь. Посвежевшая и даже повеселевшая, Сашенька вернулась в комнату.

Мать ложкой подбирала со стола склизкие, перемешанные вместе комки, пытаясь отделить остатки пончиков от каши и котлет. После холодной свежей воды Сашенька почувствовала такой приступ голода, что ей сжало лоб, виски и больно защемило живот. Она хотела было подойти и съесть оставшуюся нетронутую котлету и два пончика, но пересилила себя и с каменным лицом прошла мимо матери во вторую маленькую комнатушку, где стоял зеркальный шкаф. Сашенька закрыла дверь на крючок, засветила свечу, накапала на табурет плавленным парафином, прилепила свечу перед зеркалом и принялась раздеваться. Она сняла футболку, мятую юбку, рейтузы и минуту-другую смотрела на себя в зеркало. Сашенька была хорошо сложена и знала это. У нее были длинные ноги, широкие бедра и маленькая грудь. Правда, вид несколько портили проступающие с обеих сторон ребра.

Сашенька положила ладони на бедра и сжала их пальцами, испытывая сладостное щекочущее ощущение. Потом провела себе ладонями под мышками, потрогала налившиеся упругие соски и тихо засмеялась от внезапно нахлынувшего счастья. Она надела шелковый розовый бюстгальтер, кружевные трусики, взяла прохладную скользкую комбинацию, пахнущую духами, и прижала к лицу, потом нырнула внутрь комбинации, содрогнувшись от ласковых прикосновений шелка к коже, глянула на свое плечико, перетянутое шелковой голубенькой ленточкой и потерлась об эту ленточку щекой. Вся одежда принадлежала когда-то матери, но теперь пришлась Сашеньке в самый раз. Затем Сашенька сунула голову в шкаф, в пропахшую нафталином темноту и вытащила картонную коробку с туфлями. Она натянула белые фильдеперсовые чулочки, новую юбку и белые туфли-лодочки. Туфли были не по сезону и тонкая шелковая блузка розового цвета тоже, но зато все ладно сидело на Сашеньке, к тому же это был ее единственный наряд. Радостная, с блестящими глазами, Сашенька прошла перед зеркалом. Потом прошла с неза-

висимым видом, бросая презрительные взгляды, потом сделала несколько танцевальных фигур, взявшись пальчиками за край юбки. Она откинула крючок и вошла в большую комнату, вновь сердито и раздраженно сжав зубы, потому что понимала: стоит ей улыбнуться, перестать злиться и страдать, как она потеряет власть в доме. Мать сидела за столом; увидав Сашеньку, она провела ладонью по глазам и сморщилась. Последнее время мать часто плакала по всякому поводу, и Сашеньке это было неприятно.

— Чего опять водопровод открыла? — стараясь говорить низким голосом, спросила Сашенька.

— Красавица ты у меня, — всхлипывая, сказала мать, — жаль, отец не видит, какая ты теперь взрослая комсомолка...

— Отец за родину голову сложил, — сказала Сашенька, — а ты здесь в тылу воруеть...

— Специальности у меня нет, — сказала мать, — было б образование, можно было б на хорошую зарплату устроиться...

Сашенька вышла на кухню и увидела, что на ее шубке висит пыльная и грязная Васина шинель без патки, измазанная каким-то мазутом или соляркой. Она рванула шинель, но шинельная вешалка была пришита крепко, видно, Ольга прошила ее двойным швом, и Сашенька сломала ноготь.

— Скоты! — крикнула Сашенька, повернувшись в сторону ширмы. — Если еще раз эту грязную тряпку... Если еще раз... Я в помойку... — Сашенька повисла на шинели всем телом и вырвала шинельную вешалку. Шинель упала на пол, но вместе с ней упала и Сашенькина шубка, а сама Сашенька больно ударила колено. Испуганная мать вбежала на кухню и сказала:

— Ольга, я ведь просила твои вещи класть отдельно... Вон в углу очень удобное место.

Мать наклонилась, чтоб подобрать шинель, однако Сашенька наступила на шинель ногой и вдоволь повозила ее по полу, стараясь протащить шинель там, где погрязней и намочено.

— Пусть сам подберет, — крикнула Сашенька. — Скоро тридцать лет, как лакеев нет... Это ему не гитлеровским гауляйтерам патриотов выдавать...

За ширмой тяжело вздохнули, но промолчали.

От возни и криков Сашеньке стало жарко, она торопливо надела шубку, пуховый берет, который натягивался на уши и у подбородка завязывался ленточками, надела сапожки, а туфли завернула в газету, схватила сумочку и выбежала на улицу.

В переулке было темно и, чтоб сократить путь, Сашенька свернула на узкую тропку, прошла мимо обледеневшей водяной колонки. За колонкой были сараи и развалины одноэтажного, из серого кирпича, дома. Пахло здесь всегда сладковато и жутко, словно трупами. Но позднее Сашенька узнала, что запах у сараев не трупов, а немецкого порошка от вшей. В сером домике при немцах был какой-то пункт санэпидемстанции. Там и сейчас валялось много пакетиков с изображением большой зеленой вши.

Возле развалин стоял дворник Франя, схватившись руками за покрытые инеем остатки железного крыльца. Крыльцо было сделано из фигурного железа с разными железными бантиками и завитушками. Сохранились даже высохшие прутики дикого винограда, некогда вившиеся вокруг металлических стержней крыльца.

— Кто сказал на кума: "падло"? — крикнул Франя и захотел. Он вынул из кармана луковицу и начал с хрустом перемалывать ее. Вдруг Франя схватил Сашеньку за руку и прижал свой мокрый сивушный рот к ее уху...

— Тут семья зубного врача закопана... Леопольда Львовича. У выгребной ямы... Возле клозета... — зашептал Франя.

У Франи были выпуклые то ли пьяные, то ли безумные глаза. Сашенька вырвалась, выбежала на середину мостовой и торопливо пошла, стараясь быстрее добраться к бульвару, где было светло илюдно.

На главной улице горели фонари, и у кинотеатра шелестела украшенная бумажными игрушками и флажками большая сосна. В двухэтажном здании штаба дивизии и в расположенных рядом корпусах, где жили семьи военнослужащих, горе-

ло электричество, окна были необычайно яркие, праздничные. Дворец пионеров, где начинался новогодний молодежный бал, также ярко блистал электричеством. Это было старое здание с высокими окнами и лепными потолками. До революции и во время оккупации здесь располагалась городская управа.

Перед входом в городскую управу стояла толпа. Мраморные лестницы были сплошь покрыты оледеневшими плевками и комками снега. Сашенька втиснулась в толпу, и ее понесли, поволокли по скользким плитам, ударили о дверь и внесли в вестибюль, очень холодный, насквозь продуваемый ветром, где цепочка "ястребков" сдерживала натиск. Администраторша ловко схватила пригласительный варежками и надорвала. Вестибюль был украшен транспарантами, елочными ветками и цветными электрическими лампочками, которые недружно мигали.

Сашенька торопливо разделась, сняла сапожки, спрятала в сумочку номерок, поднялась на верхний этаж и возле буфета увидела Маркеева с ассирийкой Зарой.

В городе жила большая восточная семья, державшая рундучки по чистке обуви и продаже ботиночных шнурков. Некоторые именовали их грузинами, а некоторые ассирийцами. В действительности же они были то ли курды, то ли сербы. Зара одета была в тяжелую и пыльную бархатную юбку и с золотыми подвесками в ушах. Маркеев же в модном голубоватом френче, начищенных сапогах и галифе. По последней моде от пояса его к карману тянулась цепочка-шомпол от немецкой винтовки. Алюминиевые звенья скреплены были колечками, а на конце цепочки виднелся черенок отличного складного ножа, который кокетливо выглядывал из кармана.

У Сашеньки пересохло сразу горло, но она сумела сделать независимый вид и пошла к буфетной стойке, виляя бедрами. Лишь краешком глаза следила она за собой в зеркало и чем дальше шла, тем лучше ей становилось, она чувствовала, что произвела эффект фильдеперсовыми чулочками, розовой блузкой и большим декольте, в котором чуть-чуть виднелся кружевной край комбинации, что одежда эта, хоть и является

единственной нарядной, тем не менее, очень удачно подчеркивает все хорошее, что есть у Сашеньки, и, наоборот, скрывает дефекты, которые Сашенька знала наперечет. Так, например, у нее был немного более, чем надо, удлинненный подбородок, и иногда, оставаясь одна перед зеркалом, Сашенька с досадой терла подбородок пальцами до красноты, точно он от этого станет меньше. Был у нее также на затылке шрам от перенесенной в детстве операции, но Сашенька шрам этот пудрила и прикрывала волосами, расчесывая их как бы небрежно, так что справа, у шрама, они ниспадали вниз. Однако теперь, в зеркале, она нравилась сама себе.

Это был первый Сашенькин бал. Она давно готовилась, всю неделю, с тех пор, как мать ей достала в местном спецторга пригласительный. Сашенька мылась каждый день специальным трофейным раствором, купленным на барахолке, накручивала бигуди, втирала в кожу одеколон, впервые в жизни подкрасила губы бантиком и напудрила щеки. И вот теперь сын генерала Батюни что-то шептал своему приятелю, украдкой поглядывая на Сашенькины икры, обтянутые кремовым фильдеперсом. Сашенька стала в очередь и, предъявив пригласительный, получила по коммерческой цене подарок. Выдав пакетик, буфетчица поставила на край билета штампик "Погашено".

Сашенька вошла в большую залу, где стояла елка и играл военный духовой оркестр. Множество пар кружилось — одни медленно, другие быстро, толкаясь плечами. Но Сашенька не стала останавливаться в центре, каждый шаг ее сейчас был рассчитан, будто какая-то опытная сила руководила ею. Сашенька прошла и села подальше, в тень под балконом. В зале были балкон и сцена, но все происходило в центре, у елки, освещенной несколькими стоваттными лампами. Сын генерала Батюни сразу же подошел, сел рядом и начал вырывать у Сашеньки сумочку.

— Противный! — певуче крикнула Сашенька и, захохотав, ударила его по руке.

Бог знает, где усвоила Сашенька этот кокетливый, ласкающий удар, когда девичья ручка, совершенно расслабленная в

кисти, вначале касается мужской руки запястьем, а потом прокатывается по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками.

Сын генерала Батюни, восприняв покалыванье ноготками как призыв, отдернул руку и тут же ошалело сунул ее снова, но не к сумочке уже, а в Сашенькины фильдеперсовые колени. И Сашеньке стало сладко и страшно, как во сне. Несколько мгновений она, словно зачарованная, сидела, вся отдавшись чужим долгожданным пальцам, которые мяли ей колени и, становясь смелее, лезли дальше. Но, очнувшись, она с такой силой толкнула юношу в грудь, что тот едва не слетел со скамьи.

— Пойдем на балкон, — шептал Батюня.

— Нет, я хочу танцевать, — твердо сказала Сашенька.

Сын генерала Батюни покорно пошел за ней к центру зала. На нем был китель, какой не снился "ястребку" Маркееву, из английского сукна и с кантами, а от пояса к карману тянулась позолоченная цепочка и виднелся кончик рукоятки ножа, сделанного из кабаньей ножки, с копытцем вместо черенка.

Сашенька станцевала танго, потом вальс, потом польку-бабочку. В перерывах она грызла в темноте под балконом грецкие орехи и американский посылочный шоколад с начинкой, которым угощал ее Батюня, а Сашенькин подарок нераспечатанный лежал в сумочке на завтра. Сашенька съела столько шоколада, что совершенно перестала быть голодной и вкус шоколада даже стал обыденным и привычным. Шоколадные обертки и скорлупу грецких орехов она складывала Батюне в ладонь, которую Батюня покорно держал на весу. Батюня прятал отходы в расщелины между паркетом.

В первом часу ночи началась какая-то драка на балконе, кого-то держали, кого-то вели, но Сашенька все это тоже восприняла весело. От шоколада она даже немножко опьянела, у нее были липкие губы и почесывало небо и гортань. Несколько раз мимо мелькал Маркеев с Зарой. Зара трясла своими золотыми подвесками, как коза, а Маркеев только издали выглядел сытым и красивым. У него были сапоги со стоптан-

ными каблуками, а в перерыве между танцами Сашенька заметила, как он украдкой грыз сухарь, стоя за дверьми. Он подбирал крошки с рукавов и клал их в рот. Сашенька едва не покатила со смеху, когда увидела, как Маркеев растерялся, заметив, что обнаружен со своим сухарем, как, не донеся ко рту, он бросил на пол снятую с рукава крошку, а потом еще снимал и бросал на пол какие-то пылинки и ниточки с кителя, чтобы ввести в заблуждение. Сашенька подняла голову и, смеиваясь, скосив глаза в сторону Маркеева, начала шептать Батюне на ухо. Она шептала ему, что хочет буфетного кваса по коммерческим ценам, она могла сказать это и вслух, но умышленно шептала на ухо, чтоб Маркеев подумал, будто говорят о нем. Она мстила Маркееву за сны, в которых он хватал и мял ее, и за ненавистный девичий диванчик, который она после этого терзала боками, проснувшись среди ночи.

Маркеев злобно посмотрел на Сашеньку и, толкнув дверь, выскочил в вестибюль, а Сашенька громко захохотала. От смеха и танцев Сашенька порозовела и стала такой красивой, что Батюня, позабыв обо всем, кинулся не в коммерческий буфет, а к вешалке за шинелью, оттуда через дорогу в свежоштукатуренный дом высшего комсостава и, улучив момент, выхватил из личного отцовского шкафчика бутылочку с французскими надписями и несколько мандаринок. Не переведя дыхания, он метнулся назад и, как бежал к Сашеньке, не помнил, как раздел шинель на вешалке, не помнил, точно мгновенно перенесло его снова к Сашеньке, и он стоял перед ней, запыхавшийся, всклоченный, вымазанный штукатуркой и с сияющими глазами.

В зале играли в фанты. Ходил хромой "культурник" в кителе с петлицами танкиста, но без погон и раздавал картонные номерки. У Батюни оказался номерок "резеда", у Сашеньки — "настурция".

— Ой! — крикнула Зара.

— Что с тобой? — спросил танкист-"культурник".

— Влюблена, — сказала Зара, поправив подвески.

— В кого?

— В "незабудку".

— Ой! — нагло крикнул Маркеев, будто никогда и не грыз за дверьми сухарь, а с утра до вечера питался сгущенным американским молоком и американским пудингом с изюмом, упакованным в золоченые жестяные коробочки.

— Пойдем на балкон, — шепнула Сашенька Батюне и, посмотрев на Маркеева, довольно громко прыснула.

Сашенька и Батюня поднялись винтовой лестницей, где пахло кошачьим пометом и дул сквозняк. На балконе было пыльно и темно. Фонарик осветил сложенные сверху ножками, сбитые вместе общей планкой ряды кресел, сломанный бильярдный стол, рваные, пущенные на сапожные бархотки портьеры. Под ногами хрустел мелкий клубный инвентарь: шахматные доски и фигурки, погнутый горн, несколько "испанок" с кисточками и масок зверей из папье-маше.

Батюня вынул ножик и ковырнул им пробку французской бутылки. Пробка хлопнула, и ароматная пена поползла, запузырилась, потекла на сложенный в беспорядке грязный хлам.

— Пей, — сказал Батюня, — французское шампанское...

Он приставил бутылку с шампанским к Сашенькиным губам, она глотнула несмело, зажмурилась и глотнула еще несколько раз. Шампанское по вкусу было немного похуже лимонада, который Сашенька пила в день победы, не такое сладкое и без запаха фруктовой эссенции, который Сашенька обожала, но все же оно так же приятно пощипывало в горле, а после третьего глотка Сашенька ощутила некоторое воздействие. Батюня сунул ей мандаринку, Сашенька понюхала желтую нежную кожицу и засмеялась.

— Ешь, — сказал Батюня.

— После, — сказала Сашенька и спрятала мандаринку в сумочку.

— Возьми еще, — сказал Батюня и протянул ей новых три мандаринки.

Сашеньке было жаль рвать атласную кожицу, две мандаринки она тоже спрятала в сумочку, а третью, самую плохую, не желтую, а зеленоватую, разодрала и положила дольку

в рот. Закрыв глаза, высасывала Сашенька мандаринку и заглатывала ароматную слюну. В желудке ее уже давно клоко-тало и покалывало, видно, Сашенька объелась американского шоколада, и раза два к горлу подкатывала легкая тошнота, после которой во рту остался кисло-сладкий привкус клейкого, нормированного карточками хлеба, какао с ванилью и пшенного супа.

Когда Батюня потянулся целоваться, Сашенька испуганно отдернула голову, хоть ей очень хотелось впервые в жизни попробовать губами губы мужчины. Но она боялась, что Батюня ощутит этот кисло-сладкий привкус, от которого ей сводило рот. Однако, выпив шампанского и пососав мандаринку, Сашенька почувствовала себя гораздо лучше, желудок притих, перестал покалывать, а во рту теперь было свежо, прохладно и ароматно. Она ждала, что Батюня снова попытается ее поцеловать, но он был, наверно, испуган отказом и не решался. Сашеньку это разозлило, и она сказала:

— Пойдем вниз.

Батюня молча кивнул. У него был покорный и грустный нос, совсем несмелый, и грустно торчал на макушке хохолок, Сашеньку это рассмешило, и что-то доброе тронуло ее сердце, она почувствовала благодарность к Батюне за мандарины, за шоколад и за то, что он в нее влюбился. Ей захотелось сделать Батюне что-нибудь хорошее, но она не знала, что, и к тому же в голове немного путалось и шумело.

— Я тебя поцелую, — сказала Сашенька, — только ты закрой глаза.

Батюня торопливо закрыл глаза. В губы Сашенька все же не решалась, она долго выбирала то ли в лоб, то ли в щеку.

— Давай, — нетерпеливо крикнул Батюня, приоткрыв глаз.

— Закрой глаза, противный, — крикнула Сашенька и шагнула, чтобы поцеловать его в шею. Но едва она приблизилась, как Батюня вдруг ошалело схватил ее за плечи и ткнул несколько раз чем-то мокрым в нос и в краешек рта. Вырвавшись, Сашенька поняла, что мокрые, неприятные прикосновения и были ее первым в жизни поцелуем, о котором она так мечтала. Ей стало горько и грустно оттого, что первый поце-

луй уже позади и он такой неинтересный. Она отошла к полуманному биллиардному столу, стоявшему торчком, уперлась в него ладонями.

— Ты чего? — виновато спросил Батюня.

— Ничего, — сказала Сашенька и заплакала.

— Я может, тебя обидел, — растерянно сказал Батюня, — ты не думай... Я жениться на тебе хочу...

Сашенька посмотрела на его покорный нос и, перестав плакать, рассмеялась.

— Пойдем вниз, — сказала она.

Ей вдруг захотелось танцевать, петь, флиртовать и быть в центре внимания. Внизу гремел оркестр. Танцевали что-то быстрое и горячее.

— Понеслись, — кричал танкист-"культурник", — больше пота, меньше крови.

Оркестранты поднялись со своих мест, поддавая жару. Маркеев жонглировал сапогами, а Зара терзала коленями собственную юбку так, что ясно был слышен треск поддающихся швов.

Сашенька задрожала, предвидя трудную борьбу. Зара была старше ее на два года, и ноги у нее были мускулистые, сытые, какие бывают только от доброкачественных продуктов питания. Но Сашенька и не думала перетанцовывать Зару, и не думала включаться в бешеный темп фокстрота. Наоборот, она с Батюней поплыла медленно и плавно, умело пропуская несколько музыкальных тактов, топчась на месте и тем самым попадая в ритм. Это был точно рассчитанный ход, который осенил Сашеньку мгновенно, когда она еще была на последней ступеньке винтовой лестницы. Недостаток Сашенька превращала в преимущество. Двигаясь медленно, Сашенька сразу выделилась из общего числа танцующих, которые пытались друг друга переплясать. Лица у всех, даже у девушек, были красные, искаженные, точно они выполняли тяжелую работу, рты судорожно хватали воздух, а подмышки набухли от пота. Сашенька же плыла плавно и легко, она тем самым могла показать и свои фильдеперсовы чулочки, и розовую блузку с декольте и даже кружевную голубенькую комбина-

цию, которая просвечивала сквозь прозрачный маркизет. Прошло не более минуты, и Сашенька начала пожинать плоды своего умного поведения, а также своей одежды и внешности. Несколько лейтенантов, которые появились в зале лишь недавно, смотрели только на Сашеньку, прервав танцы и отойдя к стене. К стене отходили и другие парни покрупней: "ястребки" в кителях, учащиеся машиностроительного техникума, футболисты команды "Рот-фронт", и вообще все сильное и красивое отходило в сторону, к стене. Пробовало, правда, плясать несколько второстепенных парочек, но на них никто не обращал внимания, а Зара и Маркеев вообще куда-то исчезли. Наконец, танкист-"культурник" взмахнул рукой, и побежденный Сашенькой оркестр затих, музыканты уселись, вытерли платками лица и заиграли плавное танго, подстраиваясь под Сашенькин ритм. Сашенька с достоинством переждала паузу, спокойно стоя в середине круга, положив одну руку ладонью на плечо Батюне, а кисть второй небрежно, ослабленно, словно награду, вручив Батюниной правой руке. Чтоб показать свое безразличие ко всеобщему вниманию, она тихо спрашивала своего партнера о пустяках, которые ее совершенно не интересовали. Она спросила, не жмут ли его сапоги и рано ли ложится спать его мама. А вот ее мама иногда спит, как убитая, а иногда ворочается всю ночь, как Ольга.

Сашенька тут же спохватилась, потому что так мимоходом можно и сболтнуть, что мать работает посудомойкой, а вместе с ними живут двое убогих нищих, которые попрошайничают на церковной паперти. Но тем не менее со стороны разговор их выглядел красиво: Сашенька была увлечена тихой беседой, о которой все эти лейтенанты и "ястребки" могли лишь строить догадки. Когда заиграла музыка, Сашенька так же с достоинством, слегка наклонив голову и грустно улыбаясь, поплыла, грациозно скользя по паркету лодочками и вся ослабившись, безразличная к известности, которой она еще вчера так жаждала, созданная лишь для того, чтобы украшать, но не любить, как Марлен Дитрих или Эрика Фидлер из немецких цветных фильмов, взятых в качестве трофеев. Сашенька плыла и плыла по паркету, и уж ничего не интересовала

ло ее, кроме высоких окон, которые золотили блики луны в тех местах, где они не были заколочены фанерой. Сашенька радостно взгрустнула, рассеялась о чем-то сладком, неопределенном и вернулась в зал, лишь когда они с Батюней скользили мимо внутренней стены. Здесь не было освещенных луной окон, из открытых дверей видна была лестница в вестибюль и чувствовался запах коммерческого буфета, где продукты питания продавались не по карточкам, а по повышенным ценам. Сашенька начала различать лица, точно спускалась вниз, и вдруг, еще неизвестно почему, внутренним чутьем уловила в себе неприятную перемену. Она прислушалась.

— Вошь, — сказал кто-то радостно.

— Две, — подхватил другой.

— Я уже давно за ними наблюдаю, — счастливо подхватила Зара и тут же со злобой добавила, — сыпняк разносит.

— Я уже маршрут изучил, — объяснял Маркеев Заре, но так громко, что слышали во всех концах зала, — одна ползет по лопатке, по тому месту, где шлейка комбинации виднеется, к воротнику блузки и назад... А вторая ей наперехват ползет... Между лопатками они встречаются...

Оркестр продолжал играть, и Сашенька сделала еще несколько движений в ритме танго; так, очевидно, иногда чувствует боль и несколько мгновений продолжает жить прежней жизнью тело убитого наповал, потому что даже среди убитых наповал есть свои неудачники и пуля поражает их не в самое сердце, а чуть пониже.

— Снова встретились, — крикнул Маркеев, — поцеловались... Батюня, сейчас на тебя десант выбрасывать будут...

Послышался смех, какой-то лейтенант сдвинул фуражку на глаза. Батюня остановился. Он все еще держал руку на Сашеньке, но лицо его было растерянным и испуганным. Потом он неожиданно улыбнулся, отдернул руку, подмигнул Маркееву и начал шутовски чесаться и хлопать себя ладонями по бокам, словно ловя паразитов. Смех стал таким сильным, что оркестр прекратил играть, и музыканты свешивались с эстрады, спрашивая, в чем дело. Тогда хромым танкист-"культурник" подошел к Маркееву и не то чтобы ударил, а скорее,

провел ему ладонью от уха до уха, как бы утирая, но так, что пять полос осталось на маркеевских щеках, набухая и багровея. Потом "культурник" повернулся к Сашеньке, и лицо его из тяжелого, чугунного стало мягким и тихим.

— Ну, будя, — сказал он, — бывает... Я сам в окружении тело до крови расчесывал...

Но Сашенька посмотрела на "культурника" с ненавистью, она ненавидела его сейчас больше всех в зале, она подумала, что эта курская "фотокарточка" напоминает ей чем-то Васину, и тут же вспомнила, что Васина грязная шинель висела на ее шубке.

— Будя, — повторил "культурник", приближаясь к Сашеньке. — Что сделаешь, ежели нужда и голодуха... Я ж твою мать знаю. Она спину над солдатскими котлами надорвала... Нужду и голодуху вша любит...

Этот "курской" окончательно втапывал Сашеньку в грязь, он унижал ее фильдеперсовые чулочки, маркизетовую блузку, и ей стало ясно, что в "культурники" он попал по инвалидности, а не потому, что любит танцы и красоту.

— Ты их газеткой смахни, — шепнула какая-то дурно одетая девушка, до того худая, что кожа на лице ее была с голубоватым оттенком. На девушке был плюшевый бабушкин салоп. "По такому салопу и должны ползать паразиты, а не по маркизетовой блузочке, — с горечью подумала Сашенька. Боже мой, почему так... Ненавижу... Как ненавижу..."

— Пошли, выйдем, я помогу, — шептала девушка.

"Если б не эта беда, я б не стала разговаривать с такой дурнушкой, — думала Сашенька, — а теперь она лезет в советчицы... В подруги... Почему такое случилось... Почему я не умерла... Это все шинель... Она грязная... С паперти... Я выброшу их всех... На улицу выброшу... Они погубили мою жизнь..."

Грудь Сашеньки полна была рыданий и стонов, но Сашенька, крепко сжимая зубы, побежала из зала, лишь легкое дрожание повизгивание просачивалось сквозь губы, которые Сашенька никак не могла слепить до предела, впрочем, это было и бесполезно, потому что повизгивание вырывалось

вместе с выдыхаемым воздухом. Сашенька знала, что не сможет долго удерживать стоны в груди и горле, ими полон был рот, и Сашенька раздувала щеки, надеясь выиграть этим доли секунды. Она выбежала в вестибюль и с ненавистью ударилась спиной, лопаткой о какую-то колонну,

— Уже все, — сказала снова появившаяся рядом девушка с голубой от недоедания кожей, — я их газеткой смахнула и раздушила каблуком... Ты их румынским порошком попробуй... Не немецким, а румынским... И одежда от него не портится...

Сашенька посмотрела на ее некрасивые добрые глаза и подумала: "Зачем она живет... Ее никогда никто не будет любить... Никогда не будет кормить шоколадом... Нам обеим теперь недоступна жизнь красивых женщин... Надо отравиться... Отравиться спичками... Серы натереть со спичек..."

Танклст-"культурник" взял Сашеньку за локоть, примяв желтыми от курева пальцами маркизет на рукаве и именно в момент, когда Сашенька увидела эти ползущие по своему телу корявые пальцы, напоминающие жуков, насекомых и вообще что-то некрасивое, она поняла, что погибла.

— Не трогай руку, — брезгливо крикнула Сашенька. Но тут же с удивительной для самой себя ловкостью щелкнув зубами, отсекала стоны и рыдания, которые пытались вырваться наружу вместе с криком и совсем опозорить ее. Сашенька сильно толкнула танкиста-"культурника", он потерял равновесие и, скользя своей более короткой, несгибающейся в колене ногой, смешно раскорячившись в нелепой позе, поехал по лестницам, пытаясь уцепиться за перила. И в это мгновение из висящего в вестибюле репродуктора послышался первый удар, возвестивший о приходе нового, сорок шестого года. Сашенька кинулась к вешалке, она боялась, что не найдет номерок, но нашла его быстро, и перепуганная старушка выбросила ей шубку и сапожки.

2

На улице густо, вплотную, летел снег, так что, остановившись на мгновение и запрокинув лицо, Сашенька почувствовала, что снежная пелена неподвижна, а она, Сашенька, летит наискосок от земли к небу. У Сашеньки все закружилось, она встряхнула головой и побежала через дорогу к военным домам, держа шубку и сапожки в руках. Она хотела найти место потише, чтоб спокойно одеться, но неподалеку стоял какой-то высокий в кубанке и стрелял в воздух из ракетницы. Ракеты с треском неслись среди снежных хлопьев, тоже наискосок, как в воображении своем летела Сашенька, потом лопались, и на снегу дрожало красное зарево, будто во время пожара. Сашенька побежала назад. Около Дворца пионеров был садик, в котором во время оккупации немцы устроили свое кладбище. Кресты давно побивали, а могильные холмики разровняли во время воскресников, но кое-где еще остались небольшие возвышенности, занесенные снегом, валялись каски, остатки крестов и могильные таблички. Сашенька села на какой-то холмик, подложив под себя табличку, исписанную немецкими буквами. С того момента, как она выбежала на улицу, прошло совсем мало времени, потому что из репродуктора на углу, у трехэтажной обгоревшей коробки, все еще слышны были новогодние удары часов. Сашенька надела шубку, сбросив ладонями снег с маркизетовой блузки, и, сняв лодочки, сунула мокрые озябшие ноги в сапожки. От снега лодочки совсем разбухли, потеряли форму, и это так огорчило Сашеньку, что она уже не могла сдерживать стонов. Она стояла громко, сама удивляясь тем чужим горловым звукам, которые, оказывается, способна была издавать.

— Боже мой, что же делать? — спросила вслух Сашенька, когда стоны утомили ее и перестали приносить облегчение. — Отравиться спичками... Или уйти от матери... Уехать... Или поступить на перчаточную фабрику... Но прежде отомстить этим скотам... Эта мать... Собственную дочь она не жалела... А этих нищих... У Васи даже в бровях вши... Какая гадость... Я видала... Я видала, как Ольга мыла его... Вшивый полицай...

Мой отец погиб за родину, чтоб я могла хорошо жить... В маркизетовой блузочке кушать шоколад... Быть в центре внимания... А мать у меня подлая... Этот вшивый повесил свою рвань на мою шубку, они и переползли...

Она давно уже не сидела, а шла, миновала палисадник и вышла на заснеженную тихую площадь. Вокруг торчали одни обгорелые коробки или просто присыпанные снегом груды кирпичика, сохранился лишь Дворец пионеров — бывшая городская управа, которую не успели взорвать, и несколько домов, где теперь жили семьи военных. Сашенька пошла дальше, прижав локти к бокам и безвольно уронив кисти поднятых вверх рук. На правом локте ее висела сумочка. Улицы были пусты. Лишь раз мимо проехала военная патрульная машина. Сашеньку осветили фонарем, и солдат что-то сказал: то ли окликнул, то ли сострил. Но Сашенька молча прошла мимо. У старого трехэтажного здания ходил часовой. Было оно довольно странной формы, верхний этаж был крыт жестью: не только крыша, а именно стены верхнего этажа также были крыты оцинкованной жестью, и в жести этой были прорезаны окна. Нижний этаж полуподвальный, окна лишь наполовину высывались из земли и были забраны толстой решеткой. Сашенька прошла мимо примыкавшего к зданию массивного забора, обтянутого сверху колючей проволокой. С тыльной части, сразу за забором, начинались довольно глухие места, пустырь и овраг. Лишь вдаль за оврагом мигали редкие огоньки. У края оврага виднелось временное деревянное ограждение, кое-где уже сломанное, и стояла занесенная снегом пирамида, сколоченная из досок. К ней была прибита табличка: "Тут похоронено 960 советских граждан, замученных немецко-фашистскими оккупантами" — прочитала Сашенька. Сашенька пошла к другому концу оврага, где лежали куски ржавой, разрезанной автогенном танковой брони. Видно, Сашенька плохо очистила блузку от снега, маркизет прилип к телу, и Сашенька дрожала под шубкой, словно стояла совершенно голая на ветру.

"Что делать? — думала Сашенька, — идти домой... Опять терзать диван... Вася будет ласкать Ольгу..."

Когда Сашенька просыпается среди ночи и слышит, что на полу за перегородкой не спят, ей становится ужасно... Хочется кричать, ругаться... И одновременно она изнывает, ее начинает мучить тоскливая истома, она с такой силой напрягает тело, вытягивает ноги, что болят суставы в коленях. Она затыкает уши ватой, обматывает голову полотенцем, точно у нее болят зубы... "Проклятые, — думает Сашенька, — из-за них я страдаю". Сашенька наливаясь злобой так, что лицу становится жарко, и злоба согревает ее, придает ей силы и возбуждает. Сашенька стаскивает варежки и, зажав под мышкой сверток с туфлями, до боли стискивает кулаки, так что хрустят пальцы, становится трудно дышать и темнеет в глазах. Она решительно идет домой, торопливо, словно боится не донести туда накопившуюся в груди ненависть. Снегопад прекратился. Свет луны и глубокий снег скрыли развалины, ночной город чистый и тихий. За несколько часов навалило так много снега, что Сашенька застревает в нетронутых сугробах между сараев. У выгребной ямы лежат присыпанные снегом смерзшиеся куски нечистот, картофельной шелухи, рваных тряпок, и Сашеньке вдруг становится страшно. Она вспоминает, как Ольга гадала несколько дней назад, поставив три свечи перед зеркалом, и Сашенька долго, до боли в глазах, смотрела в зеркало, пока не увидела в нем чье-то знакомое лицо. Теперь ей начинает казаться, что это было лицо дочери зубного врача Леопольда Львовича, закопанной здесь, у ямы с нечистотами. Сашенька представляет, как лежит она в этой нечистой топкой земле, и вдруг ей кажется, что сквозь тряпки и замерзшую картофельную шелуху показывается лицо молодой красивой еврейки. Щеки у нее белые, поблескивающие изморозью, а глаза горячие и большие.

— Мама, — совсем по-детски кричит Сашенька и бежит, спотыкаясь, падая, бежит, как прежде бежала к матери, чтоб спрятать голову у нее меж теплых колен. — Мама, — отчаянно кричит Сашенька. Ей кажется, что кричит она очень громко, но в действительности она едва шевелит языком и короткие бубнящие звуки вылетают из ее рта. Потом ей кажется, что она на своем диванчике, голове жарко, горло пересохло, как

бывает ночью, когда надышат в комнате и пригреются. Покрытое изморозью, красивое лицо среди нечистот, конечно, приснилось, а значит, какое счастье! приснилось и то, что по маркизетовой блузочке ползали паразиты. Сашенька видит мать. Она стоит совсем молодая, очень похожая на Сашеньку, так похожая, что Сашенька подумала с некоторым испугом, уж не она ли сама смотрит на себя со стороны. На матери новый пуховый платок и фетровые боты. Но рядом с матерью Сашенька видит танкиста-"культурника" в армейском бушлате и танковом шлеме на меху. Он держит мать за руку и что-то говорит ей, а мать смеется и, неожиданно вырвав руку, кокетливо и ласково ударяет "культурника" точно так, как Сашенька Батюню. Ручка матери, совершенно расслабленная в кисти, вначале коснулась руки "культурника" запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками. Сашенька прижалась щекой, подбородком, лбом к деревянному столбу, поддерживающему балкон, и тихо застонала. Грудь налилась, снова стала тяжелой от злобы и тоски, потому что Сашенька поняла: она пыталась себя обмануть и на мгновение представила себя спящей на диванчике, а на самом деле все наяву: паразиты на маркизетовой блузочке, которые переползли с Васиной шинели, и мать с "культурником", и, может, лицо красивой еврейки, дочери зубного врача, закопанной у выгребной ямы, она тоже видела наяву.

"Культурник" обнял мать, прижал ее к себе, и она с благодарностью потерлась щекой о его подбородок, смеясь, прихватила зубами край его танкового шлема. Тоскливая истома охватила Сашеньку, ноги ее напряглись, заныли в суставах, зубы были так крепко стиснуты, что болели скулы, а зрачки расширились, точно смотрели в глубокую тьму, среди которой Сашеньке чудилось нечто сладкое и ужасное, о котором она лишь смутно догадывалась. Она застонала громче и, чтоб очнуться от охватившего ее небытия, сильно ударилась о столб.

— Кто-то кричал, — тревожно сказала мать, отстраняясь от "культурника".

— Ветер, — сказал "культурник".

— Я все ж беспокоюсь, — сказала мать, — Сашенька так все близко к сердцу принимает.

— Ничего, — сказал "культурник", — она у подруги, видать. Мало ли что бывает...

— Да, — сказала мать, — она иногда ночует у Майи, когда поругается со мной...

Танкист-"культурник" просунул руки сзади под платок матери, так что ладони его охватили материн затылок, и мать с притворным возмущением потрянула головой, словно пытаясь вырваться, но "культурник" прижал ее грудью к стене дома, как Маркеев во сне прижимал Сашеньку, и крепко припал губами к губам матери, а она нежно гладила его ладонями по спине, счищая снег с бушлата.

Сашенька мгновенно, с силой оттолкнувшись от столба, выскочила на середину двора, кинула сумочку и сверток с туфлями, которые ей мешали, выругалась матом в три погубели, как ругались "ястребки" и мальчики в подворотнях. Мать отпрянула от "культурника". Повернулась к Сашеньке, выпрямилась, даже привстала на цыпочки, вскинула обе руки над головой. Брови ее поднялись, на лбу появились поперечные морщины, нижняя челюсть отвисла, и она крикнула так же отчаянно и по-детски, как Сашенька, когда только что испуганно бежала от выгребной ямы. Однако крик этот лишь на первое мгновение остановил Сашеньку, потом ей захотелось сделать матери еще больней, даже какая-то дикая тоскливая радость охватила Сашеньку, когда она увидела, как мать ее боится, и Сашенька закричала:

— Мой отец погиб за родину, а ты здесь... Ты знаешь кто? Ты — прости тут, прости там, прости Господи, нам...

В некоторых окнах появился огонь, к стеклам прижались лица, но Сашеньке было уже на все наплевать. Она кинулась к матери с плачем и стоном и больно ущипнула ее в щеку, оттолкнув растерявшегося "культурника", который пытался заслонить собой мать. Она металась вокруг них, как злая маленькая муха, а они только беспомощно отмахивались. Потом Сашенька понеслась вверх по лестнице. Дверь не была запер-

та; видно, мать лишь прикрыла ее, сойдя вниз с "культурником". Кухня залита была лунным светом, поблескивали висющие на гвоздиках горшки и кастрюли. В прогревшемся, несвежем воздухе слышался дружный безмятежный храп Васи и Ольги. По-прежнему вся дрожа от возбуждения, Сашенька секунду-другую стояла, как бы собираясь с мыслями, прислушиваясь к робким шагам матери на лестнице. Торопливо, пока не войдет мать, Сашенька сдвинула ширму. Вася и Ольга спали обнявшись, оба большие и некрасивые. Ольга положила голову на поросшие волосами Васиной груди-колеса, которые мерно вдыхали и выдыхали воздух, и Ольгина голова то подымалась, то опускалась. Крестик на Ольгиной груди свешивался, касался Васиного крестика, и, когда кто-нибудь из них дергался или ворочался, крестики негромко позвякивали друг о друга. Спящие укрыты были лишь до половины Ольгиным платком, какой-то рванью, из которой вылезала вата, и Васиной, измазанной мазутом шинелью. Из-под шинели виднелась отброшенная в сторону большая, как лопата, голая Васиная ступня.

— Вон! — трясясь и сжимая кулаки, неистово закричала Сашенька, — прячетесь... Немецкие холуи... Полицай... Мой отец был летчик, погиб... воевал... А вы здесь в тылу вшей разносите... Вон!..

Вася продолжал дышать все также безмятежно, Ольга лишь слегка забормотала что-то, и это совсем раззадорило Сашеньку. Она схватила ведро, кружкой расколола тонкую пленочку льда и плеснула на спящих ледяной водой. Оба вскочили мгновенно, бессмысленно озираясь, отряхиваясь и отфыркиваясь, как провалившиеся в полынью животные.

— Вон! — закричала Сашенька, — уходите с вашей рванью... С вашими вшивыми тряпками... Вон из этого дома...

И тут Сашенька обернулась, почувствовала мать, которая стояла на пороге.

— Разденься и заходи в комнату, — негромко сказала мать, но Сашенька уловила в ее голосе нечто новое и разом поняла, что сделала чего-то не так, уж слишком отдалась порыву и потеряла над матерью власть.

— Ты тоже убирайся, — скорее по инерции крикнула Сашенька матери, — это дом моего отца... Отсюда он ушел на фронт... Ты не смеешь... Не смеешь с любовником...

Сашенька знала, что ей нужно как можно сильнее исказить в гневе свое лицо, чтоб глаза закатились и дергалась щека, мать страшно пугалась, когда у Сашеньки начинала дергаться щека, но сейчас Сашенька чувствовала, что злоба у нее получается какая-то растерянная, нестрашная, и мать, видно, тоже это почувствовала. Она шагнула к Сашеньке и с такой силой ударила ее наотмашь по лицу, что Сашенька упала на колени. Сашенька тут же вскочила и побежала, пригнувшись, вдоль стены кухни, однако мать преградила ей дорогу и ударила так, что зазвенело в ушах. Несмотря на это, Сашенька умело отвернулась от третьего удара и ловко прыгнула за спину Васи и Ольги. Они сидели мокрые, отупело прижавшись друг к другу, как щенки во время пожара или наводнения. Здесь, за их спинами, матери трудней было достать Сашеньку, к тому ж сзади мать схватил вошедший танкист-"культурник". Мать некоторое время стояла вся дрожа, как Сашенька несколько минут назад, затем она обмякла, уронила голову на плечо "культурника" и громко заплакала.

Сосед, живущий "прямо и налево по коридору", техник Дробкис, заглянул в приоткрытую дверь. Он был в ватных штанах, домашних войлочных туфлях и меховой безрукавке, надетой на нижнюю рубаху.

— В чем дело. Катя? — спросил сосед мать. — Может, вызвать "скорую помощь"?..

— Не надо, — всхлипывая сказала мать... — Так, небольшая ссора...

— Бывает в семье, — сказал "культурник".

Сашенька увидела, что мать размякла, и это придало Сашеньке силы.

— Неправда! — громко крикнула она Дробкису, — была она меня... Вместе с любовником... Это квартира моего отца... Она не смеет... Она воровка... Вот кто она... Воровка...

Сашенька выпрыгнула из-за спин Васи и Ольги, прошмыгнула мимо матери, оттолкнула Дробкиса и побежала вниз по

лестнице. К счастью, сумочка ее и туфли по-прежнему лежали на снегу в сугробе. Сашенька все подняла и торопливо пошла в конец переулочка. Она чуть ли не бежала, и сердце ее колотилось под самым горлом. К Майе идти среди ночи было неудобно, и Сашенька решила пойти на вокзал, чтобы обогреться. Она все обдумала, пока шла, и даже успокоилась. Матери у нее больше нет. Будет жить одна. Из школы уйдет, поступит на перчаточную фабрику или на почту почтальоном... Мать у нее воровка, мерзавка и проститутка... А Вася — полицейай... Ах если бы "культурник" оказался шпионом... Переодетый диверсант...

На вокзале было шумно, но тепло. Вповалку на скамьях и прямо на полу лежали демобилизованные. Воздух был сирым от махорочного дыма. Вкусно пахло свиной тушонкой и хлебом. Сашенька села на подоконник за фикусом в обросшей мхом зеленоватой кадке и раскрыла сумочку. Она вынула мандаринки, понюхала их и посидела так некоторое время, прикрыв глаза. Затем спрятала мандаринки и разорвала бумажный подарочный пакет. В пакете было два ореха, один медовый пряник, три мятных, несколько леденцов, кулек каленых семечек, очень вкусных. Сашенька съела сперва каменные пряники, это была тяжелая работа. У Сашеньки заболели скулы и даже мускулы на шее. Потом она принялась за леденцы. Вокруг было много молодых солдат, и Сашенька боялась, как бы они не начали приставать к ней, она съезжилась за фикусом и даже перестала грызть леденцы, чтоб шумом не привлечь внимания. Но прошло полчаса, прошло сорок минут на часах, которые висели посреди зала, никто не приставал к Сашеньке, ей стало обидно, скучно, она выглянула из-за фикуса и застыла в изумлении. Неподлеку от нее сидел лейтенант-летчик, но таких красивых мужчин Сашенька видела только в цветных трофейных кинофильмах. У него было точеное смуглое лицо, густые брови сходились на переносице, волосы были черные, как у цыган, а глаза серые, от взгляда которых становилось сладко на сердце. Летчик лишь раз глянул в сторону Сашеньки, да и то, наверно, не заметил, потому что она была скрыта фикусом. Он оперся на

свой вещмешок, положил его под голову и прилег, чтоб вздремнуть. Длинные, слегка загнутые кверху ресницы слегка подрагивали.

"Солнышко мое", — с тихой радостью подумала Сашенька и представила, будто расчесывает ему черные, наверно, шелковые наощупь, волосы и будто голова его касается Сашенькиной груди, приятно щекочет набухшие соски.

"Миленький мой Витенька, — думала Сашенька, — славный ты мой, только мой, — она придумала ему имя, чтоб быть ближе, чтоб не быть чужой. — Какая я богатая, — думала Сашенька, — это все мое... Эти ресницы, эти руки..."

Когда Сашенька мечтала, лицо ее запрокидывалось, глаза становились большими и на губах появлялась улыбка, зыбкая и таинственная, как при неудовлетворенной страсти.

— Миленький мальчик мой, — шептала Сашенька. — Миленький, миленький мой...

Протянув руку из-за фикуса, Сашенька могла коснуться черных цыганских волос лейтенанта, потому что он сидел на самом краю скамейки и голова его, опираясь подбородком на вещмешок, даже свешивалась за край. Сашенька скомкала цветную бумажку, в которую был завернут орех из новогоднего подарка, кинула обертку в мусорную корзину, стоящую рядом, и рука ее, как бы невзначай даже для Сашеньки самой, скользнула по волосам лейтенанта, но так легко, что лейтенант и не пошевелился. Красивое лицо его погружено было в глубокий сон. Сашенька никогда не видела прежде, чтоб лицо человека во сне оставалось таким красивым, потому что на лице спящего обычно проступают все дефекты, которые бодрствующие ухитряются скрывать, и особенно умело скрывают дефекты красивые люди. Час и два сидела Сашенька неподвижно, из окна дуло, спина окоченела; чтоб стало теплее, Сашенька сжалась, подогнув колени, нащупав ногами какой-то выступ, она поставила на него ступни, а голову пригнула к ногам. Ей приснилось: большая кошка пытается забраться под одеяло. Сашенька подгибает под себя края одеяла, но кошка находит Сашенькину руку и начинает рвать зубами. Сашенька выдергивает руку, к счастью, на за-

пястье лишь небольшая ранка, лишь слегка примята кожа, а кошка отбегает в сторону и смотрит на Сашеньку не кошачьими, карими, все понимающими глазами.

Сашенька проснулась мгновенно, рывком. Она с трудом разогнула позвоночник. Болели икры ног, точно она взбиралась на гору, болела спина. Демобилизованные ходили по залу, кашляли, зевали. Почти никто уже не спал. Край скамьи, где сидел красивый лейтенант, был пуст.

"Он оставил меня, — с тоской подумала Сашенька. — Я никогда его больше не увижу".

И сразу же злоба проснулась в ней, но это не была злоба к красавцу-лейтенанту, это была старая, забытая злоба к своей распутной матери, к ее хромому любовнику и к двум нищим, ради которых мать пожертвовала родной дочерью. Сашенька встала с подоконника, выбралась из-за фикуса, вышла на улицу и торопливо пошла, твердо зная цель, к которой шла, ни секунды не колеблясь.

Был уже рассвет, дворники сгребали снег, к ларькам подъехали хлебные фургоны. Запах поднятой лопатами снежной пыли смешивался с запахом свежеевыпеченного теста и, прикрыв глаза, Сашенька представила, будто завтракает теплыми кусками хлеба, остужая после них гортань вкусными, холодными до зубной боли глотками.

Сашенька подошла к трехэтажному зданию, верхний этаж которого был закован в цинковые листы, а окна нижнего, полуподвального, забраны решеткой. Как раз подъехала мохнатая, вся в инее, лошадка, запряженная в сани, на которых стоял укутанный рогожей большой котел. Двое арестантов в телогрейках вышли из ворот в сопровождении милиционера, также в телогрейке, кубанке и с немецкой винтовкой, надетой через плечо дулом вниз, по-партизански. Арестанты взяли котел за металлические ушки и понесли. Из котла шел пар и вкусно пахло вареной брюквой, ржаной мукой и постным маслом. Сашенька сглотнула слюну, прижала локоть к заурчавшему животу, переждала, пока это урчанье прекратится, и подошла к часовому.

— Мне к начальнику, — сказала Сашенька.

— Обратись к дежурному, — с привычной скукой сказал часовой, — слева крыльцо... где народ дожидается...

3

На крыльце толпилось много людей с кошелками и мешками, но еще больше их было в приемной дежурного, большой, холодной комнате, разделенной перегородкой. Дежурный, белокурый молодой парень, сидел в накинутом на плечи дубленом полушубке и листал какие-то бумаги. Люди в приемной тихо толкали друг друга, стараясь не скандалить между собой громко, чтоб не привлечь внимания дежурного, который, видимо, их уже одергивал и предупреждал. В основном здесь были сельские жители, но было несколько и одетых по-городскому, даже одна модница в шубе из серого каракуля, с такой же муфтой и каракулевым капором. Было странно видеть, как она толкается среди телогреек и кацавеек, пытаясь протиснуться поближе к полке, у которой писарь и милиционер принимали мешки и кошелки. Место возле полки занял здоровенный крестьянин. Он легко отталкивал напавших сзади, выгружая на тряпочку перед писарем куски густо посыпанного солью сала, и писарь отмечал что-то в бумажке. Женщина в каракуле ухватила одной рукой за перегородку и, нажав плечом в глыбообразную ватную спину крестьянина, ожесточенно, сантиметр за сантиметром протискивалась к заветной полке, неся в вытянутой руке плетеную, перевитую шелковыми ленточками корзинку, в которой булькала бутылка молока и выглядывал румяный, аппетитный кусок жареной говядины, приправленной чесночком. Капор ее съехал на затылок, по молодому лицу текли струйки пота.

"Спекулянтка, — глотая слюну, со злобой подумала Сашенька, — наворовала каракулей".

В тот момент, когда женщина была уже близко, крестьянин сделал легкое движение задом, даже не оборачиваясь. Женщину унесло далеко от полки, за спины других посетителей и ударило о стену. Перетянутая ленточками корзинка,

которую женщина краешком уже успела поставить на полку, сорвалась, под ноги толпящихся потекло молоко, и женщина нырнула вниз, пачкая каракуль о кирзовые сапоги.

"Так и надо, — с радостной злобой подумала Сашенька, — спекулянтка проклятая..."

— Что такое, — сказал дежурный, поднимая голову. — Я предупреждал — прекращу прием передач... Ну и народ... Степанец, — сказал он весело, заметив какую-то старушку в конце очереди, — ты опять здесь...

— Здесь, хозяин, — прошамкала маленькая старушка, кланяясь.

Она была поверх кацавейки накрест перетянута тремя платками, выглядывавшими один из-под другого. Ноги ее поверх валенок перевязаны были вокруг ступней тряпками, из которых выбивалась солома.

— Тебе ведь сказано неоднократно, Степанец, — терпеливо и настойчиво говорил дежурный. — Сыну твоему передачи приниматься не будут... Он виновен в тягчайших преступлениях... В массовых убийствах советских граждан, понимаешь... Его народ судить будет...

— Семь километров шла, — сказала старушка, вытирая слезящиеся глаза, — мороз печет... Я ведь что... Я ведь немного ему... Животом он слаб... И грудь у него слабая... Вот... Спасибо, добрые люди посоветовали...

Старушка начала торопливо сизыми, отмороженными пальцами распутывать узелок расшитого васильками платка. В платке была желтая, протершаяся на сгибах бумажка, которую старушка понесла, ловко лавируя между посетителями, протянула дежурному...

— Что такое, — сказал дежурный. — Что еще за филькина грамота? — Он взял бумажку брезгливо двумя пальцами и начал читать, с трудом разбирая стершиеся каракули.

"Справка. Больной Степанец П.И. страдает отложением мочекислых солей в суставах, а также почечной недостаточностью. Нуждается в молочной диете с большим содержанием овощей и фруктов. Рекомендуются курортное лечение... Сероводородные родоновые ванны, грязевые аппликации с одно-

временным питьем минеральных вод. Рекомендуются поездки в Эссентуки, Железноводск, Сочи-Мацеста, Цхалтубо. Доктор Вурварг. 1940 год”.

Пока дежурный читал, старушка стояла перед ним, с надеждой моргая и вытирая глаза сизыми пальцами.

— Здесь все правда написано, хозяин, — сказала она, — по совести написано.

— Некогда мне, — перегибаясь через перегородку, сказал дежурный. — Народу у меня прорва, а ты каждый день здесь толкаешься!.. Дома б сидела... Семь километров сюда ходишь, да семь обратно...

— Когда как, — сказала старушка. — Бывает, подвезут... Подвода, бывает, колхозная или машина... Тут в бумаге все написано... чтоб принять.

— Филькино это писание, — уже сердито сказал дежурный, — возьми бумагу... Еще придешь завтра, задержу... Арестую, поняла?

Он отдал старушке бумагу, она бережно завернула ее в платок и, спрятав на груди, отошла к подоконнику, видно, устраиваясь перекусить, достала луковицу, тряпицу с солью и хлеб.

Воспользовавшись замешательством, которое вызвала старушка, женщина в каракуле кинулась к полке в образовавшийся проход, неся перед собой корзинку, вкусно пахнущую жареной говядиной, которая, будучи пропитана разлитым молоком, приобрела особо нежный аромат. И этот запах, щеко-тавший Сашенькины ноздри, удвоил ее силы и возбудил злобу. Сашенька также проворно кинулась в проход, и они сшиблись плечами с женщиной у самой полки.

— Мне не передачу, — торопливо сказала Сашенька прямо в лицо дежурному. — Мне по особому делу...

Сашенька твердо поставила локоть на полку, так что он мешал женщине не только протолкнуть корзинку, но и отгораживать ее лицо от дежурного.

— Мне по особому делу, — повторила Сашенька, терпя боль, потому что женщина снизу сильно давила Сашенькину ногу коленом, а на полке царапала Сашенькину кожу у за-

пястья каким-то металлическим острым шипом, торчащим из корзинки.

— По какому делу? — спросил дежурный, разглядывая Сашеньку.

— По особому, — в третий раз повторила Сашенька, с трудом удерживая руку на полке.

— Заходи, — сказал дежурный и открыл в перегородке небольшую калитку, откинув крючок.

Сашенька с облегчением убрала руку с полки и вошла за перегородку. Женщина с ненавистью посмотрела ей вслед, и тут же ее вновь оттеснил высокий крестьянин, начавший выкладывать на полку перед писарем крутые яйца.

— Входи сюда, — сказал дежурный и, открыв дверь, пропустил Сашеньку вперед.

Это была небольшая, совершенно пустая комната. Даже стола в ней не было, а только два табурета, настенный телефон и портрет народного комиссара внутренних дел.

— Садись, — сказал дежурный.

Сашенька села на табурет, а дежурный остался стоять под портретом.

— Слушаю, — сказал дежурный.

— Мне известно, где скрывается полицай, — сказала Сашенька, обливав почему-то пересохшие губы и вспомнив совершенно ярко и отчетливо, как Вася и Ольга сидели, прижавшись друг к другу, словно щенки на пожаре.

— Ты не торопись, — оживленно сказал дежурный и дружески подмигнул, — и не бойся... Давай, говори подробнее...

— Он скрывается в моем доме, — глухим твердым голосом сказала Сашенька, — моя мать кормит его ворованными продуктами... Ворованными у государства... Ненавижу ее... Мой отец погиб на фронте, погиб за родину... А она с любовником...

Дежурный внимательно посмотрел на Сашеньку и положил ей руку на волосы, погладил...

— Не волнуйся, — сказал он, — ты молодец... Если б жил отец, он одобрил бы твой поступок... Я сам три года в партизанах всякое повидал... Значит, мать живет с бывшим поли-

цаем? — уже другим, протокольным голосом спросил дежурный.

— Нет, — сказала Сашенька, у которой перед глазами плыл туман и губы были мокрыми от слез, — у полиция Ольга... А мать — с "культурником".

— Каким "культурником"? — вынимая блокнот, спросил дежурный, — какая Ольга, ну-ка фамилии...

— Не знаю, — сказала Сашенька.

— Адрес тогда, — сказал дежурный.

Сашенька назвала адрес.

— А мать где работает?

Сашенька сказала.

— Я тоже питалась этими продуктами, — добавила Сашенька.

— Ничего, — сказал дежурный. — Хорошо, что сознаясь... Политзанятия посещаешь?.. Сын за отца не отвечает. Какого классика марксизма эта цитата? — не дожидаясь ответа, дежурный подошел к телефону, снял трубку и сказал несколько слов, которых Сашенька не разобрала. Потом он повесил трубку, сел на табурет, положил на колено блокнот, черкнул размашисто две фразы, вырвал листок и протянул его Сашеньке.

— Зайдешь к начальнику, — сказал он. Дежурный дал ей записку и, открыв невидимую, оклеенную обоями дверцу, пропустил Сашеньку в коридор. — Прямо иди, — сказал он. — Покажешь записку.

Сашенька прошла в коридор и оказалась в светлой, очень теплой комнате, так что сидевшая в углу машинистка была в блузке с коротким рукавом, как летом. А рядом с машинисткой сидел красавец-лейтенант. Сашенька вначале даже провела ладонью по глазам, не веря и удивляясь такому совпадению. Лейтенанту тоже было жарко, он расстегнул крючки на кителе, и легкая красноватая полоска прорезала шею там, где ее сжимал тугий ворот. Глаза у него теперь были не серые, как ночью, а голубые. В комнате этой было три двери, одна обита кожей, вторая войлоком, третья просто деревянная. Из деревянной двери вышел худой человек в пиджаке, поверх

рукавов которого были надеты черные ситцевые нарукавники, словно у бухгалтера. В руках он держал несколько папок.

— Вот что есть в архивах, — сказал человек, подходя к лейтенанту.

Машинистка перестала стучать и подняла голову. Лейтенант тоже поднял голову. Густые брови сошлись у него на переносице, голубые глаза потемнели, и стал он еще красивее, так что Сашенька стояла не дыша, забыв, зачем пришла сюда, и думая только о нем.

— Значит, по Овражной улице имеется 960 замученных граждан, и на них у нас списки есть почти на всех, поскольку они проходили через канцелярию фельджандармерии, — сказал человек в нарукавниках, — затем, в районе бывшего аэродрома. И в селе Хажин... Семь километров, карьеры фарфорового завода... Кроме того, есть ряд мелких, незарегистрированных могил, поскольку кое-где убийства велись стихийно... В основном, местными полициями в нетрезвом виде... Имеется рапорт врача санэпидемстанции городской управы и докладная одного из дворников... Сейчас они будут здесь... Врач этот еще у нас в предварительном следствии, а дворника мы вызывали... — Тут человек заметил Сашеньку.

— Тебе чего? — спросил он.

Сашенька показала записку.

— Понятно, — сказал человек с бухгалтерскими нарукавниками, — проходи сюда, опиши все подробно и подпишись.

Он толкнул войлочные двери и пропустил Сашеньку в комнату с канцелярским столом, диваном и зарешеченным окном, стекла которого были до половины замазаны мелом, как в туалетах.

— Пиши, — повторил он.

Сашенька осталась одна. Перед ней на столе лежала куча белой бумаги и стоял мраморный чернильный прибор в виде головы Черномора, против которого скакал Руслан с копьем. Сашенька сняла крышку-шлем и, взяв одну из лежавших на столе ручек, обмакнула перо в череп Черномора. Ручка была толстой, канцелярской, Сашенька отложила ее и взяла привычную школьную, тоненькую.

"Мать моя, — написала Сашенька, — является расхитителем советской собственности. Я отказываюсь от нее и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину..." Сашенька пробовала писать с нажимом, но перо брызгало, царапало, и к тому же бумага не была линейная, как в школьных тетрадях, буквы прыгали, и строчки то ползли вверх, то загибались вниз. Сашенька никак не могла придумать, что написать о Васе, Ольге и "культурнике". Она подумала, неплохо бы приписать и Батюню, и Маркеева, и Зару с золотыми подвесками и вообще всех, кто смеялся и издевался над Сашенькой. Она отложила перо и задумалась. Кроме войлочных дверей, в комнате были еще одни, крашенные белой краской, словно в больнице. И за этими больничными дверьми слышались глухие голоса и кто-то надсадно, действительно, по-большому кашлял. Сашенька решила спросить, что ей писать дальше; она встала, подошла на цыпочках к белой двери и легонько толкнула ее. Дверь поддалась, приоткрылась, и в образовавшуюся щель Сашенька увидела лейтенанта. Он сидел в кресле, опершись рукой о подлокотник и опустив на ладонь голову. Рядом с ним стоял исхудавший, бледный человек, видимо, арестант. Тощая шея арестанта перевязана была шарфом, а синеватый бритый череп и виски так туго обтягивала кожа, что, казалось, она вот-вот лопнет, особенно теперь, когда человек надсадно, тяжело кашлял. Рядом с этим человеком стоял дворник Франя и мял в руках шапку.

— Продолжайте, Шостак, — сказал чей-то негромкий, но пугающий голос.

Сашеньке стало страшно, однако, она не решилась прикрыть дверь, так как боялась, что дверь скрипнет. Она шагнула на цыпочках влево и увидела за столом майора в очках, который читал какую-то бумагу.

— Это ваша подпись, Шостак? — спросил майор.

Шостак вытащил из телогрейки конец грязного шарфа, вытер им рот, хрипло несколько раз вздохнул и сказал:

— Попить бы...

— Это ваша подпись? — повторил майор.

— Разрешите, — сказал Шостак и взял бумагу, — да... Я обязан был как санитарный врач сигнализировать...

Майор взял бумагу и, подняв очки на лоб, прочел:

"В канализационных коллекторах, сточных канавах, а также в ряде случаев в дворовых местах общественного пользования обнаруживаются трупы лиц еврейской национальности, которых отдельные граждане из местного населения самовольно уничтожают в черте города, используя металлические прутья, ножи, камни и прочие средства. Подобные действия в нарушение инструкции о сборе этих лиц в строго установленных пунктах, для дальнейшего препровождения, угрожают городу эпидемией, что особенно опасно, учитывая большое количество госпиталей немецкой армии, размещенных у нас. Гниющие трупы привлекают бродячих собак и кошек, а также способствуют размножению мух и слепней, и это усиливает опасность распространения эпидемии как среди населения, так и среди армии. Санэпидемстанция городской управы не располагает ни транспортом, ни рабочей силой для вывоза трупов в места, заранее предусмотренные. Посему прошу обратиться к военным властям с ходатайством о запрещении впредь подобного нарушения инструкции, а также прошу выделить транспорт для очистки городской территории от очагов заразы. Главный врач санэпидемстанции городской управы Шостак. 17 августа 41 года".

— Мне было отказано в транспорте, — глухим, утробным голосом, как говорят в бреду, сказал Шостак. — Мы пробовали использовать двухколесные тачки, но место транспортировки было порядка пяти-семи километров, к тому же многие трупы, особенно для транспортировки их по городу, особенно в летнее время, требовали мешков и рогож, так как иногда случалось, конечности были отделены, а в ряде случаев нарушен был кожный покров и ткань, так что внутренности оказывались выведенными наружу и подвергались еще в большей степени, чем наружные покровы, окислению, усиливая опасность эпидемии. Подобная работа по очистке не терпела отлагательств, поскольку водопровод был взорван и население города пользовалось естественными открытыми

водоемами... В силу трудоемкости и вредности она требовала высокой оплаты мясными и молочными талонами... В этом мне также было отказано... Поэтому я дал указание дворникам закапывать трупы по месту жительства... То есть используя укромные места во дворах, либо близлежащие пустыри, если трупы находили по месту жительства. До 24 сентября, когда объявлен был день сбора, все лица еврейской национальности жили по своим квартирам, выселение их в отдельные районы не производилось... Но были у нас случаи убийства просто на улицах... Тут возникали трудности в части уборки... Мы испытывали трудности даже с такими простыми средствами дезинфекции местности, как гашеная известь...

Шостак говорил то громче, то переходя на шепот, глаза его лихорадочно блестели, как у тяжелобольного. Он был в каком-то полубреду, едва стоял на ногах... — Попить бы, — снова сказал Шостак.

Майор налил в жестяную кружку воду из графина, Шостак схватил ее жадно, вцепился так, что слышно было поскрипывание зубов о жезл, однако сразу же закашлялся, уронил кружку и согнулся, схватившись за живот. Вены на бритом черепе его раздулись, и видна была ясно каждая жилка, словно на наглядном пособии по анатомии.

— Садись, — сказал майор и подвинул ногой табурет.

Шостак тяжело упал на табурет, снова вытер лицо концами шарфа.

— Теперь вы, — сказал майор, повернувшись к Фране. — Тут в деле имеется ваша докладная о семье зубного врача... Вот сын их приехал, — майор кивнул на лейтенанта, сидевшего в кресле. Лицо у лейтенанта было бледным, и он поминутно то застегивал, то расстегивал крючки на тугом воротнике под горлом. Он молча вынул фотографию, наклеенную на картон. Сашенька прильнула к самой щели и разглядела фотографию довольно хорошо, потому что Франя стоял неподалеку от двери и фотографию он рассматривал тщательно. На фотографии были мужчина и женщина празднично одетые. Женщина держала младенца. За спиной мужчины и женщины

стояли юноша и девушка. Девушка была в сарафане с открытой шеей и голыми плечами.

— Я их припоминаю, — сказал Франя, который уже с утра, несмотря на полученную повестку, выпил стакан буракового самогона. — Как же, все на одно лицо. Красивая была порода... На месте они... В своем дворе... Если б они ушли в общую, тогда не найдешь... Там тысяч десять, а тут четверо...

— Конкретней, Возняк, — прикрикнул майор.

— Шума-ассириец их кончил, — сказал Франя, выдохнув, — чистильщик сапог... В газету завернул кирпич, среди бела дня головы разбил и за ноги повытаскивал в помойку... Дочку шестнадцати лет, и мать, и Леопольда Львовича, и младенчика пятилетнего... И одежду свою окровавленную в помойку выбросил... Он специально одежду старую надел, чтобы выбросить не жалко... Шаровары рваные и рабочую куртку парусиновую в ваксе... Лежала эта семья так четыре дня друг на друге, и Шума не разрешал их из ямы вытаскивать, чтоб, говорит, все соседи на них помои лили и грязь кидали... А его ж боялись, он же в полицию пошел служить... Дни жаркие были, воздух гнилой, мухи летают... Я ему говорю: у тебя же самого дочь Зара этим воздухом дышит... Не обращает внимания... Ну, пошел я в городскую управу, мне там разъяснили: не слушай, мол, его и не бойся, есть указание властей бороться с эпидемией. Так что вывози в карьеры на фарфоровый завод... А подводу, говорю, где взять, семь же километров... На то ты, говорит, и дворник... Ну, вытащил я всю семью Леопольда Львовича ночью из ямы и закопал возле сараев... А младенчика в рогожу завернул и на кладбище отнес... Сторожу два куска мыла отдал и кальсоны теплые. Он и разрешил мне возле ограды закопать... Дите обижать нельзя, это невинная душа... Не знаю, что у Шумы с Леопольдом Львовичем было, пусть Бог рассудит, а за младенчика, я ему говорю, вечное адское искупление терпеть будешь... Выпил для храбрости и сказал... Он мне по морде смастерил, чуть зубы не выбил... А теперь сам мучается в Ивдель-лагере... Он не здесь попал, он в Польше, там четвертную дали. Только лучше б вышку заработать... Приехал тут один, освободился... Видал его в

пересыльном... Болеет все Шума, и болезни какие-то невиданные, какие лишь в аду бывают... Мясо на ногах лопается, тело в нарывах, так что спать нельзя ни на спине, ни на животе, ни на боках, засыпает на коленях, в стену лбом упершись, а как заснет, свалится на нары, начинают гнойки лопаться и вскакивает с криком... Его за то другие заключенные не любят, спать мешает... И еще не любят, что как еду раздают, съест ее быстро, словно пес, миску вылизет и ходит просит чужие миски облизать... Кровью кашляет, а не помирает никак... Искупление ему за младенчика... Злоба у меня на него, товарищ майор, хоть он тоже человек... Я ему говорю: Леопольда Львовича кончай, раз уж приспичило, жену кончай, дочку кончай, а дите не трожь... — Франя всхлипнул. Плакал он размашисто, по-пьяному, вытирая щеки и шею локтями, ладонями, так что на коже оставались полосы.

Некоторое время в комнате было тихо, майор сидел, наклонив голову, а лейтенант смотрел перед собой, и впервые лицо его поблекло, изменилось так, что он даже перестал Сашеньке нравиться. Все время, пока говорили, Сашенька стояла в каком-то оцепенении. Не то, чтоб она не понимала, о чем говорили, слышно было хорошо, она разбирала каждое слово, но после этого разговора ей казалось, что она подслушала какую-то ужасную, как ночной кошмар, тайну, от которой кружилась голова и которая была вовсе не о том, о чем говорились здесь слова, это напомнило ей почему-то три свечи в зеркале во время гадания, но дело было не в свечах и не в зеркале, а в чем-то третьем, вызывающем дрожь в темном воздухе, в мелькнувших чужих лицах, приближающихся из серебристого полумрака, словно все привычное и знакомое исчезло, и Сашенькиной кожи коснулся легкий ветерок, влажный, земляной запах чужого мира, и как только Сашенька ощутила его, так испуг исчез, и она подумала с облегчением: "А ты разве не знала? Да, это так", и теперь ей казалось, что, наоборот, вид деревьев, снега, солнца или куска хлеба может повергнуть ее в ужас. Сколько такое продолжалось, Сашенька не знала, ее привел в чувство крик из соседней комнаты.

— Я болен, — кричал арестант, похожий на анатомическое пособие, — у меня рези в кишечнике... у меня спазмы желудка...

Майор снял трубку, позвонил, и Сашенька подумала, что тоже больна, видно, простудилась, когда бегала в одной маркизетовой блузочке.

В соседнюю комнату вошел человек в белом халате и начал щупать арестанта, запрокинул ему голову, оттянул нижние края век. Сашенька на цыпочках отошла к столу, где лежало ее недописанное заявление.

"...Я отказываюсь от нее, — перечитала Сашенька, — и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину..."

Вдруг Сашенька спохватилась, что с ней нету туфель-лодочек. То ли она оставила их на вокзале, то ли уронила по дороге. И Сашеньке стало так обидно, что она забыла обо всем, и слезы потекли сами по себе. Сашенька начала часто моргать мокрыми ресницами и проморгала так минут десять, пока не ощутила вдруг, что кто-то на нее смотрит. На пороге, открыв дверь настежь, стоял майор. За спиной его в соседней комнате уже никого не было, словно все то было видением и растаяло в воздухе.

— Ты чего здесь? — спросил майор. Он подошел, скрипя сапогами, и взял заявление, прочел.

— Отчего ж ты плачешь, — спросил он, — мать жалко?

И вдруг Сашенька подумала, что, может, действительно, ей жалко мать. Но тут же Сашенька вспомнила, как мать стояла с инвалидом, и как била ее, и как выгнала из дому не вшивых нищих, а свою родную дочь. И Сашенька обозлилась сама на себя за то, что вдруг пожалела. Сашенька сердито посмотрела на майора, ничего не ответив, быстро дописала: "Живет также у нас в квартире полицай Вася и полицайева жена Ольга". Она размашисто подписалась и протянула майору бумажку.

— Не умеешь ты еще такие бумаги писать, — рассмеявшись, сказал майор, — малоубедительно пишешь... Кроме того, дату надо и адрес...

Три дня Сашенька пролежала у Майи с высокой температурой. Просыпалась она на рассвете и смотрела в потолок, не жась на свежих простынях, ждала, пока дворник за окном начнет царапать тротуар лопатой. Тогда Сашенька закрывала глаза, засыпала под эти шаркающие, монотонные звуки и просыпалась уже поздно утром, часов в десять. Сашенька любила ночевать у Майи. Майя была некрасивая, бледная девушка с плохим обменом веществ, отчего лицо ее всегда было в смазанных зеленкой гнойничках. Майя была доброй и начитанной девочкой, но подруг у нее не было, а мальчиков она боялась. Потому родители Майи очень были довольны дружбой ее с Сашенькой. Отец Майи работал лектором, а мать преподавала литературу в техникуме. Отец был маленький, с плешью и смешно вытянутыми вперед губами, словно он все время трубил в сказочную дудочку-невидимку. Мать была, наоборот, высокая, рыхлая, с женскими редкими бакенбардами и усами. В доме этом Сашеньке было хорошо, спокойно и сытно, но была одна нелепая история, из-за которой Сашенька старалась последнее время здесь не появляться и даже поддружилась, правда, ненадолго, с Иришей, дочерью полковника. Собственно, и истории-то никакой не было, так, выдумка глупая, за которую Сашенька сама себя ругала и в конце концов решила: всякий раз, как придет эта глупость в голову, щипать себя незаметно и царапать ногтями. Месяца два назад Сашенька и Майя были в кино, смотрели трофейный фильм с такой страстной и нежной любовью, что, выйдя на улицу, Сашенька, потрясенная, шла посреди мостовой, спотыкаясь и спеша, словно торопилась на свидание и у ларька газводы на углу Махновской и Изаковской ее ждал мексиканец Френк Капра. Майе фильм не понравился.

— Ходячий наив, — сказала Майя, — почитай "Приключение в plombированном пульмане", там наш разведчик любит разведчицу... И погибает, конечно, за родину, но родина олицетворяет для него все: и березки, и кремлевские звезды, и разведчицу...

— А может, ты мне еще "Евгения Онегина" посоветуешь читать? — с ехидным смехом спросила Сашенька...

Майя была отличница и хорошо писала изложения, а Сашенька по два года сидела в одном классе и вообще собиралась оставить школу, но про любовь Майя ничего знать не могла, ей, наверное, даже не снились ночью мальчишки. Сашенька разозлилась, что Майя с ее гнойничками вообще говорит про любовь.

Дома у Майи их ждал хороший обед. Сашенька получила глубокую тарелку, до краев наполненную перловым супом, на поверхности которого плавали ароматные пятна расплавленного свиного жира. В тарелке лежала большая мозговая кость, облепленная кусочками мяса и клейкого хряща, который Сашенька любила еще больше, чем мясо. На второе были клецки из ржаной муки с мясной подливой. Клецки были подрумянены на сковороде и пропитаны салом, стоило прижать их вилкой и сало начинало течь, смешиваясь с подливкой, делая ее гуще. И было еще третье — чай с пластовым мармеладом. Сашенька ела это все, испытывая в душе необычайную благодарность и к Платону Гавриловичу, и к Софье Леонидовне, а перед Майей она чувствовала вину за то, что вышучивала ее по дороге. Незадолго перед этим Сашенька поругалась с матерью, и теперь она думала, насколько чужие люди бывают иногда лучше родной матери. После еды Сашенька уселась на плюшевый диван и решила подумать о чем-нибудь хорошем или смешном, потому что на душе у нее теперь было покойно, а в животе тепло. Она начала опять думать про фильм, вспомнила, как Френк Капра обнимал блондинку так сильно, что Сашенька, сидя в зале, даже почувствовала свои суставы и тело, занывшее в истоме, правда, легкой, далекой от ночной живой сладости. Сейчас, сидя на плюшевом диване в сытой полудреме и вспоминая, Сашенька вновь испытала это чувство, даже еще более усиленное, так что защекотало грудь и она прижалась щекой к спинке дивана, прикрыв глаза, но что-то звякнуло, Сашенька вздрогнула и вскочила. Софья Леонидовна подбирала осколки уроненной ею и разбитой тарелки. Волосы выбились из-под косынки, а

капот распахнулся, обнажив желтую висящую грудь, и Сашенька просто ради шутки подумала, представила себе, как Платон Гаврилович обнимал наедине Софью Леонидовну, целовал в обросшие редким курчавым волосом щеки, и вдруг Сашеньке стало не весело, а тошно, так что кусочки пластового мармелада, который Сашенька ела в последнюю очередь, подкатились ей к горлу. Она прикрыла рот ладонью и посидела так некоторое время; стало легче, кусочки мармелада сползли, но начало побаливать в животе. Это чувство возникало несколько раз. Сашенька старалась не смотреть на Софью Леонидовну, отказалась от ужина, настоящего омлета из американского яичного порошка, и в тот же вечер помирилась с матерью. После этого Сашенька недели две не была у Майи, а когда пришла, то ей стыдно было смотреть Софье Леонидовне в глаза, точно она скрывала какой-то свой тайный, мерзкий порок, о котором та могла догадаться. Долгое время у Сашеньки не было этих ощущений, она даже начала забывать о них, но беда состояла в том, что сейчас, когда Сашенька пришла измученная и больная, они появились вновь и даже усилились. Потому, проснувшись утром и прислушиваясь к голосам в соседней комнате, Сашенька с тревогой ждала появления Софьи Леонидовны и, нервничая, несколько раз провела себе ногтем по запястью, царапая в наказание кожу. Софья Леонидовна вошла умытая, свежая, с заплетенными в косу волосами и освещенная из окон утренним морозным солнцем. Она положила Сашеньке ладонь на лоб, затем опустила руку под одеяло и нащупала Сашенькины плечи и грудь.

— Ты вся мокрая, — сказала Софья Леонидовна, — надо переменить рубашку... Майя, — позвала она, — принеси рубашку...

Майя вошла также умытая и свежая, пятен зелени на ее лице сегодня почти не было. Она принесла свою рубашку, шелковую, с кружевами у ворота. Майя была выше Сашеньки, ростом в Софью Леонидовну, и Майина рубашка доходила Сашеньке почти до пят.

— А мать твоя в этот раз даже не поинтересовалась, — сказала Софья Леонидовна, — обычно она приходит ко мне в тех-

никум, когда ты у нас, спрашивает... А сейчас ей даже не интересно знать, что дочь больна...

— Я ее ненавижу, — низким мужским голосом сказала Сашенька, так как была простужена, — она мне не мать... Я признаю только отца, погибшего за родину...

— Ты можешь жить самостоятельно, — сказал Платон Гаврилович, показав в дверь свое намыленное лицо, так как он брился, — за отца еще будешь года два получать пенсию... Окончишь семилетку, поступишь в техникум.

Майя внесла в комнату дымящуюся чашку бульона. Это был настоящий куриный бульон, крепкий и опьяняющий, сваренный из кур, полученных Платоном Гавриловичем в каком-то дальнем сельмаге после лекции о международном положении. С каждым глотком Сашенька чувствовала свое крепнущее тело — так ей казалось, но держать чашку еще все ж было трудно, поскольку была она тяжелой, наполненной до краев крепким наваристым бульоном, а руки Сашеньки были слабы от трехдневной температуры. Чашка наклонилась и жирные капли бульона плеснули на пододеяльник. Софья Леонидовна взяла чашку у Сашеньки и приставила край ее к Сашенькиным губам. Сашенька пила, испытывая необычайную благодарность, и ей даже захотелось обнять и поцеловать эту добрую женщину, но одновременно знакомое беспокойство бродило в Сашенькиной голове, она вдруг поймала себя на том, что ей хочется крикнуть Платону Гавриловичу: не надо, не становитесь рядом, не подходите... Но Платон Гаврилович подошел, взял Софью Леонидовну об руку, плешь его прикасалась к ее полному плечу, и Сашенька со злостью отдала себя во власть своих же нелепых выдумок, которых боялась и от которых не знала, как избавиться. Она представила себе все, что делал Френк Капра с гибкой блондинкой, но вместо темпераментного мексиканца был Платон Гаврилович с лысиной и телом подростка, а гибкую блондинку заменяла Софья Леонидовна. Это видение было так смешно и так ужасно, что Сашенька с силой ущипнула свою ногу под одеялом в наказание и едва не поперхнулась бульоном.

— Пей маленькими глотками, — строго сказала Софья Леонидовна.

— Хорошо, — сказала Сашенька и, не выдержав, рассмеялась.

— Ты чего? — спросил Платон Гаврилович.

— На нее смехотунчик напал, — сказала Майя, тоже засмеявшись.

— Значит, выздоравливает, — сказала Софья Леонидовна, — не будет больше в маркизете бегать по морозу.

К счастью, во входную дверь застучали. Стучали сильно, кулаком, и стало сразу ясно, что это стук незнакомого человека.

— Кого еще несет в выходной с утра, — сказал Платон Гаврилович, — может, ко мне посыльный из райисполкома, лекцию ехать в Хажинский сельсовет читать... Но ведь вчера перенесли на четверг.

Платон Гаврилович был в галифе, вполне пригодных четырнадцатилетнему мальчику, а сверху на нем была теплая нижняя фуфайка подросткового размера, пуговички которой на груди были расстегнуты, обнажая детскую грудь, покрытую седым курчавым волосом. Он натянул поверх фуфайки полувоенную гимнастерку ответработника и, надевая на ходу широкий командирский ремень, пошел в переднюю.

— Это к тебе, Саша, — сказал он, вернувшись через некоторое время, — навестить пришли... Это Ольга, — повернувшись к Софье Леонидовне, добавил он. — Женщина, которая полы у нас мыла... И с ней еще кто-то...

Сашеньке стало почему-то страшно, она забилась в угол дивана, натянув одеяло под горло. Войдя, Ольга тоже посмотрела на нее с испугом. Вслед за Ольгой в комнату вошел танкист-"культурник". Оба были с красными от мороза лицами. Некоторое время длилась неловкая тишина, потом "культурник" сказал:

— Здравствуй, Саша... Вот наведалься... Ольга мне адрес показала...

— А вы кто Саше будете? — подозрительно и ревниво глядя на "культурника" спросила Софья Леонидовна.

— Никто он мне, — вдруг со злостью выкрикнула Сашенька, — не знаю, чего им надо... Чего пришли... Хотят чего-то от меня выведать... Чего-то против меня хотят...

Как только Сашенька крикнула, Ольга испуганно попятилась к дверям, "культурник" посмотрел удивленно, а Софья Леонидовна быстро стала между гостями и Сашенькой, положив Сашеньке руку на голову.

— Не бойся, деточка, — сказала Софья Леонидовна. — Ты в своем доме, тут тебя не обидят... Это, видно, штучки твоей матери... Только уж лучше б она сама пришла, чем чужих людей посылать... Все ж дочь...

— Извиняюсь, конечно, — кашлянув, сказал "культурник", — мать бы рада прийти, только не может, арестована она уже третий день...

— Я так и знал, — нервно выкрикнул Платон Гаврилович, — я чувствовал, что женщина, которая не умеет воспитывать свою дочь, кончит уголовщиной... Женщина, у которой отсутствует материнство, отсутствует и нравственное начало...

— Извиняюсь, конечно, — сказал "культурник". — Уголовщина там не Бог весть какая... Ее задержали в проходной с продуктами... Я ее действия, конечно, не одобряю... Но только делала она это не для себя... Дочка нервная, ей питание усиленное надо...

— Я не просила, не просила, — крикнула Сашенька, — я говорила, что она позорит... Она позорит отца... Его память... Она не мне... Она половину... Она больше половины отдавала... Она не ради меня...

— Успокойся, Саша, — сказала Софья Леонидовна, — у тебя подымется температура... У тебя глаза лихорадочные.

— Это верно, — негромко сказал "культурник", — чего уж сейчас... Я у нее был сегодня... Просила она, чтоб пришла ты повидать перед отправкой... Их в Гайву перевозить будут... Судить-то ее по месту жительства будут, я уж со следователем, говорил... А пока в ту тюрьму перевезут... Тут тюрьма разрушена, а в КПЗ долго не продержат... К ним в пятницу допускать будут...

— Она больна, — торопливо сказала Софья Леонидовна.

— Это я вижу теперь, — ответил "культурник".

— А вы кто ее матери будете? — подойдя вплотную и поднимаясь на цыпочки, строго спросил у "культурника" Платон Гаврилович.

— Любовник это ее, — вся задрожав, выкрикнула Сашенька, — она память отца позорит...

Сашенька старалась не смотреть на "культурника", но неожиданно, сама не зная почему, глянула, и у нее перехватило дыхание, точно все, что она знала про себя, в один миг стало известно и ему, до самых мелочей, до того, что подчас она и от себя скрывала, и сейчас Сашенька была полностью в его власти, сидела под его взглядом обнаженная и беззащитная. Это длилось недолго, может быть, не более минуты, затем Сашенька пришла в себя, однако, уже не кричала, а сидела тихо, забившись в угол.

— Садитесь, пожалуйста, — неожиданно сказала Майя и подвинула стулья "культурнику" и Ольге. Они сели, "культурник" твердо опершись о спинку, а Ольга на самый краешек, боком.

— Тут вам мамаша записку передала, — переходя на вы, тихо сказал "культурник". Он наклонился и подал Сашеньке бумагу, сложенную треугольником, как фронтовые письма от отца. Сашенька взяла, развернула и начала читать корявые, писанные чернильным карандашом строки.

"Дорогая доченька моя Саша, — писала мать, — с приветом к тебе твоя мать Екатерина. Такая, доченька, стряслась беда. Но ты не волнуйся, следовательно говорит, что много мне не дадут, если чистосердечно во всем признаюсь, подберут хорошую статью, как за мелкое хищение, а не хищение государственного имущества на военном предприятии. Дай-то Бог. И, может, учтут мое вдовство и фронтовую смерть моего мужа, а твоего отца. Доченька, я ночи здесь не сплю, когда думаю, как же ты будешь жить без меня. Тебе учиться надо и ты болезненная, тебе питаться хорошо надо. Спасибо Софье Леонидовне, она к тебе как родная мать, даже лучше, ты цени это, потому что она все ж тебе чужой человек, а она про тебя заботится. Доченька, я тебя перед нашей разлукой уда-

рила. Ты прости меня, сердце зашло и болело после того еще долго и сейчас болит. Ты не сердись и приходи в пятницу, я тебя повидать сильно хочу. Твоя мать Екатерина".

Сашенька читала долго, начиная и останавливаясь, перечитывая, доходя до конца и вновь читая первые строки. В глазах ее плыл туман, груди было тяжело, и не хотелось ничего на свете, кроме того как сидеть так, с туманом в глазах и тяжестью в груди.

— Чего она там такое написала, — сердито сказала Софья Леонидовна и хотела взять письмо, но Сашенька торопливо, даже резко отстранила ее руку и спрятала письмо под рубашку на груди. Увидав, что Сашенька притихла, сидит грустная, с мокрыми от слез щеками, Ольга несколько осмелела.

— Васю тоже арестовали, — сказала она, — жалко... Понятливый он был, тихий... Я б возле него прокормилась... А кроме Васи, кому я нужна...

— Пойдем, Ольга, — сказал "культурник", — мы свое дело выполнили... А теперь мы, может, не к месту... В том смысле, что, может, люди перекусить хотят, или мы, может, большой повредили... — Он повернулся к Софье Леонидовне. — Спасибо, хозяйка, что следите за Катериной дочкой, как-никак...

Он подошел к дверям с Ольгой, но сразу же вернулся, видно, в передней у него был пакет большой, промасленный и вкусно пахнущий.

— Вот, — сказал он, — это паек... гостинец...

Платон Гаврилович, стоя за его спиной, сделал зверское лицо и мотнул головой: не бери, мол.

— Нет, нет, нет, — легко кивнув Платону Гавриловичу и отталкивая пакет обеими руками, сказала Софья Леонидовна, — мы не нуждаемся... А вы это лучше... Лучше передачу из этих продуктов...

— Ничего, — сказал "культурник", — передачу мы тоже обеспечим. — Он положил пакет прямо на Сашенькины ноги поверх одеяла и вышел. Слышно было, как они одевались, как Ольга закрепляла, перематывала веревки на галошах. Сашенька угадывала это по сопенью и потапыванию. Потом хлопнула входная дверь и все затихло.

Весь день Сашенька пролежала, повернувшись к стене, в полузабытье. Ей было жарко, и она вытащила одеяло из пододеяльника. Тогда стало холодно, однако, чтобы заправить одеяло в пододеяльник, надо было сесть на кровати и производить какие-то новые движения руками, и Сашенька предпочитала согреться, прижав колени к животу. Когда пришел доктор, Сашеньку с большим трудом подняли, и это было не то, чтобы больно, а, скорее, раздражало, потому что она нашла, наконец, удобное положение с подогнутыми коленями и ладонями, охватывающими ступни. Край одеяла, прикрывая Сашенькину голову, образовал матерчатый козырек между подушкой и стеной, и перед Сашенькиным лицом был серый приятный полумрак, а пальцами рук Сашенька поглаживала пятки и ложбинку ступней. Когда же Сашеньку извлекли на свет, на безжалостное морозное солнце, заливавшее комнату, режущее глаза, ноги Сашеньки оказались в неудобном положении, так что болел таз и ныли пятки и руки ее оказались далеко выброшенными на одеяло, не могли ничем помочь ноющему телу. Сашенька увидела красное, замерзшее, как у "культурника", лицо доктора, но у нее уже не было сил обозлиться на него, ей могло хватить лишь сил, чтоб разжалобить доктора и Софью Леонидовну.

— Доктор, — сказала Сашенька слабым голосом, — доктор, миленький, славненький мой доктор... что мне делать... с кем посоветоваться... Софья Леонидовна, миленькая, славненькая моя... — однако больше Сашенька ничего не могла сказать, она неудачно рассчитала свои силы и произнесла слишком много слов, без которых вполне можно было обойтись, а ведь у нее было достаточно времени, когда лежала под матерчатым козырьком в полумраке, чтобы найти два-три слова, после которых все стало бы ясно и ей, и всем. И от обиды на себя Сашенька заплакала.

Доктор осмотрел ее и, отойдя к столу, начал негромко говорить с Софьей Леонидовной и Платоном Гавриловичем, а Майя тем временем вытирала Сашенькино лицо платком.

— Простуда и нервное потрясение, — сказал доктор.

— Да, — сказала Софья Леонидовна, — девочка пережила ужасную травму...

— Ничего, — сказал доктор, выписывая рецепты, — организм молодой, пройдет.

И действительно, к вечеру Сашеньке стало лучше, она лежала с ясной здоровой головой и здоровым телом, которому было не холодно и не жарко. Ночь Сашенька спала хорошо, с приятными легкими снами, утром позавтракала вкусным куском холодной курицы. Через несколько дней такой жизни Сашенька полностью восстановила свои силы и сказала Майе, которая ради нее не ходила в школу:

— Ты можешь идти в школу... Я сегодня ухожу...

— Но ты еще бледная, — сказала Майя, — и простуженная... А на улице мороз...

— Знаешь, Майя, — сказала Сашенька, — может, я и дура, и, конечно, извини, но мне кажется, что у вас имеется какой-то расчет по отношению ко мне...

Тогда вдруг Майя заплакала и сказала:

— Это правда... Я скажу честно... Я слыхала раз, как мама говорила с папой, и сказала, что рядом с тобой я смогу тоже дружить с мальчиками, потому что ты красивая... Но это ведь обидно, обидно... Папа ей тоже возражал... А я, Сашенька, знаешь... Я, честное комсомольское, под салютом всех вождей, я просто тебя люблю... Мне других подруг не найти...

— Найдешь, — сказала Сашенька, к которой вместе с силами вернулась приятная щекочущая тоска в груди, делавшая ее слова твердыми и сильными, и каждое ее слово разжигало ее тоску, по которой Сашенька уже соскучилась. — Я к себе домой пойду, — сказала Сашенька, — а ты найдешь... Вон, Ириша, дочь полковника... Или Зара... А я дочка арестантки... Ты не плачь... Чего тебе плакать... У тебя папа живой, и мама государство не обворовывала...

От тоски у Сашеньки начала вновь побаливать голова, она торопливо надела маркизетовую блузку, юбку, сапожки, все, в чем была на Новый год и в чем пришла сюда. Красивая, она прошла перед Майей, лицо которой сегодня было особенно густо покрыто пятнами зеленки, потом Сашенька наде-

ла шубку и вышла на улицу. Был очень ясный день, сугробы поблескивали, и над трубами домов совершенно прямо, отвесно стоял белый дым, потому что ветра не было и на голубом небе не было видно ни облачка. Мороз был небольшой, градусов пять-восемь. Посреди мостовой вели колонну пленных румын. Обычно пленные шли согнувшись, дрожа, упрятав носы в воротники шинели. Эти же были рослые, со здоровыми лицами, и хоть сопровождали их несколько автоматчиков, шли они весело, и впереди знаменосцы несли красный и национальный флаги, а двое несли плакат, написанный по-русски и по-ихнему.

"Долой реакционеров! — прочитала Сашенька. — Долой бояр и монархистов!"

Сашенька свернула в свой переулок и едва не столкнулась с Зарой. Сашенька отпрянула, увязла в сугробе, но Зара не заметила ее, она стояла спиной и выглядывала из-за угла куда-то в глубину двора, к сараям. Сашенька даже немного дружила с Зарой в первые месяцы после приезда из эвакуации, а потом они разругались из-за Маркеева и стали врагами. Странно, что Сашенька и Зара всегда влюблялись в одного, например, они вместе тайно любили военрука школы и делали это так ловко, что никто не заметил, даже сам военрук, только Сашенька заметила любовь Зары, а Зара любовь Сашеньки. Потому, лишь глянув на Зару и то со спины, Сашенька поняла, что Зара влюблена, и не просто влюблена, а по гроб, до конца жизни, с ночными мечтаниями и такими снами, от которых ночью млеет сердце, а днем, стоит лишь вспомнить, щекам становится жарко. Видно, забыты были и Маркеев и военрук. Зара стояла, поглаживая варежкой обмерзшую льдом водосточную трубу, и черные большие глаза ее, которые так нравились мальчикам и которые так ненавидела Сашенька, теперь смотрели не насмешливо и презрительно, а полны были покорной мольбы, звали и обещали в обмен все. В глубине двора, у сараев, ходили красавец лейтенант, Франя и управдом. У Франи в руках была лопата, он счищал снег, постукивая по мерзлой земле, делал какие-то пометки и измерял расстояние шагами то от стены сарая, то от стены горелых

развалин и, видно, путался, спорил с управдомом. Сашенька тоже остановилась, глядя в глубину двора, прижавшись к дереву с таким расчетом, чтоб дерево закрывало ее от Зары, а она могла видеть Зару и в случае надобности посмеяться над нею. Днем, освещенное солнцем, лицо лейтенанта было особенно красивым, легкая серебряная изморозь, словно седина, лежала на его выбившихся из-под ушанки цыганских волосах, а глаза были такой густой голубизны, что на скулах лежали голубоватые тени. Разговаривая с Франей и управдомом, он прошел совсем недалеко от Зары, почти вплотную, так что розоватое облачко дыхания его, Сашенька это видела, коснулось Зариного лица. Не заметив Зары, он сел в заиндевелый военный "виллис", сказал что-то солдату-шоферу, и они уехали. Франя и управдом пошли в сторону Сашеньки, обдав запахом махорки, самогона и промерзшего навоза.

— Леопольда Львовича я два раза закапывал, — говорил Франя, — жара... закопал, собаки разнюхали, разрыли... Пришел санитарный инспектор Шостак... Какую ему теперь, в КПЗ кровью харкает... А тогда кулаками возле морды мне махать начал... А я говорю: я дворник... я возле трупов караулить стоять не согласен... Я по низшей категории получаю, а ты имеешь паек мясными и молочными талонами и еврейское барахло имеешь... Ну, разумеется, я кое-что из этого не сказал тогда, а подумал... И подумал: погоди, наши придут, холуйская морда...

— Гроба, рабсилу и транспорт лейтенанту интендантство предоставляет, — невнимательно слушая пьяную болтовню Франи, сказал управдом, — и вывоз покойников в ночное время... Тут соседи, тут дети... Только ночью разрешено вести работы... — Они свернули за угол, и некоторое время еще слышны были их голоса и поскрипывание снега.

Зара стояла, привалившись к водосточной трубе. Разгуливая по двору, лейтенант держал прутик, которым чертил что-то на снегу, наверное, механически, а уходя, он кинул этот прутик неподалеку от Зары. Сашенька видела, как Зара оглянулась, потом пошла, как бы нехотя, словно случайно, задумавшись, наклонилась, взяла этот прутик, вернулась к

себе в укрытие и неожиданно прижала к губам утолщенную часть, которую лейтенант держал в ладони. И тут Сашенька не выдержала, рассмеялась, вспомнив, как лейтенант прошел мимо Зары, даже не заметив ее. Услышав смех, Зара метнулась, словно ее уличили в чем-то стыдном, покраснела, увидав Сашеньку, и крикнула:

— Вшивая, твою мать арестовали...

— А твой отец полицай, его повесят, — крикнула Сашенька радостно и злобно, — советский лейтенант вообще не станет с тобой водиться... Ищи себе гитлеровских гауляйтеров...

— Наплевать, наплевать, наплевать, — закричала Зара и, сломав прутки, кинула его в снег.

Из старого, покосившегося флигеля в глубине двора выбежали двое черноглазых мальчишек, братья Зары, и принялись кидать в Сашеньку снежками. Один был лет пяти, с круглой веселой мордашкой, и кидал очень смешно, важно пыхтя, и недалеко, осыпая себя снегом, а второму уже было лет тринадцать, он был гибкий, ловкий и кидал умело, беспощадно, зная, что целить надо повыше, в глаз или зубы. Он попал Сашеньке смерзшейся ледяшкой в нос так сильно, что на мгновение перед ней зарядил воздух и смеющееся лицо Зары поплыло в сторону. Второго, гибкого, то ли имя, то ли кличка была Хамчик. Все во дворе звали его Хамчик, даже родная мать. Сашенька сжала кулаки и кинулась к Хамчику, но мать братьев, жена погибающего в Ивдель-лагере Шумы, тоже выбежала из флигеля, черноглазая, большеносая, с золотыми зубами. Она схватила Зару и двух сыновей и потащила их по тропинке в дом, испуганно оглядываясь. Хамчик яростно сопротивлялся, рвался из рук, кровожадно пытаясь из-за материнской спины достать Сашеньку ногой. Когда вся семья укрылась в своем флигеле, Сашенька постояла посреди тропки, чувствуя солоноватый привкус на губе и устало дыша, потом наклонилась, приложила снег к разбитому носу и, нащупав в кармане шубки ключи, побрела к себе, тяжело поднялась по лестнице и вставила ключ в замочную скважину. Однако дверь была заперта изнутри на крючок, Сашенька вспомнила об Ольге и постучала.

5

Ольга встретила ее радостная, умытая, с мокрыми распущенными волосами и в халате матери.

— А Вася-то вернулся, — шепнула она Сашеньке, словно приглашая радоваться вместе и сообщая весть, которую Сашенька давно с нетерпением ждала, — выпустили, слава Господу...

Кухня была сильно натоплена, и на полу стояло несколько лоханей с грязной водой, и чувствовался запах хозяйственного мыла, видно, недавно здесь производилось купанье. На кухне появились какие-то новые бумажные салфеточки, вырезанные из газеты, с зубцами, старый хозяйственный столик, с знакомыми зазубринами, на котором мать готовила еду и который Сашенька любила нюхать, потому что он вкусно пахнул котлетным фаршем, этот столик исчез, а вместо него был новый, прочно сработанный из свежих досок. И вообще что-то незаметно изменилось, точно Сашенька пришла в чужую квартиру. Вася сидел не за своей перегородкой на кухне, а в комнате за столом, и, увидав Сашеньку, он улыбнулся ей приветливо, но без испуга, как раньше. Наоборот, Сашенька испытывала теперь какую-то робость; войдя, она присела на валик своего диванчика, который натирала боками в душные, полные мечты и желаний ночи, однако сейчас и этот диванчик казался ей чужим.

— Садись к столу, — сказала Ольга и поставила перед Сашенькой голубую миску, из которой обычно ела мать. В миске лежало два больших черных вареника, и Сашенька начала жадно есть их, хоть знала, что они добыты Ольгой на церковной паперти в виде подаяния. В варенике была начинка из всякой всячины. Здесь был мак, рис, сушеные сливы, морковь, лук, и все это показалось Сашеньке очень вкусным, она подумала об Ольге с благодарностью, и всякий раз, когда Ольга выходила на кухню, а потом снова заходила, Сашенька смотрела с надеждой, не принесла ли Ольга еще чего поесть. Но Ольга больше ничего не дала, лишь убрала миску и вытерла стол. Посреди стола стояла хлебница с кусками черствого

церковного кулича, и Ольга убрала его в буфет, от которого у нее теперь были ключи. Сашенька заметила, что на полках в буфете уже стояли какие-то Ольгины мешочки, торчали деревянные ложки, выстроганные Васей, и лежала непочатая свежая буханка хлеба.

— Выпустили, — улыбаясь, обнажая десна, сказал Вася, — вчистую освободили...

На Васе была свежая полосатая рубаха, которую Ольга, наверно, нашла в том отделении шкафа, где лежали вещи Сашенькиного отца. Однако, ни Вася, ни Ольга не испытывали по этому поводу ни малейшего смущения, и Сашенька тоже почему-то не возмущалась, то ли у нее не было для этого сил, то ли Сашенька чувствовала, что жизнь ее вдруг изменилась так, что возмущаться она теперь права не имеет. Ольга и Вася смотрели друг на друга, гладили друг друга, похлопывали друг друга и улыбались Сашеньке, точно приглашая и ее разделить их радость. И Сашенька вдруг улыбнулась, чтоб Васе и Ольге было приятно, хоть улыбаться не хотелось и после двух вареников еще сильнее хотелось есть. Только теперь, освоившись немного с новой обстановкой и своим новым положением, Сашенька заметила, как Вася переменялся за эти несколько дней. Раньше это был здоровый, сильный, с мощной круглой грудью и тупым, вечно испуганным лицом мужик. Теперь же перед ней сидел изнеможенный, с бритой головой человек, с кругами под глазами, с запавшими щеками, кожа на черепе его была голубоватой, и он похож был на арестанта, которого Сашенька видела в кабинете майора, шея его также похудела и побледнела, так что ворот отцовской рубахи был велик, и, хоть рубаха застегнута была на верхнюю пуговицу, видны были костлявые Васины ключицы. Вместе с болезненностью лицо Васи приобрело какой-то покой и некоторое осмысленное выражение, точно за эти несколько дней в тюремной камере, он что-то понял и мог даже смотреть сам на других свысока и поучать их, так бывает иногда, после тяжелой болезни либо беды, окончившейся благополучно. Человеку вдруг начинает казаться, что он великий молодец и понял, в чем суть всякого явления.

— Ты к Кайгородцеву сходи насчет матери, — сказал Вася, — тебя будут к помощнику направлять, к майору, ты не ходи... Скажи, я лучше подожду... Я лучше в другой раз... Я человек подневольный, обязан был подчиняться, я только глянул, понял... Ни-ни... К такому не попадай... Крут, ой крут... Но работа у него тоже нервная, с нашим братом повозись... А я думаю, главное — потерпеть... Начальник другой придет, выше, разберется... И сразу разобрался, дай ему Бог здоровья... Ученый, видать... Полковник... Ты, говорит, не виновен, а виновен только, что не явился сам по месту жительства для разбора, раз на тебя подана бумага... Ты, говорит, советской власти не доверился... Виноват, говорю, ваша правда... А бумагу на меня Анка подала... Я у ней на квартире жил... Как пьяный мужик к бабе, так она ко мне... Я председателю сельсовета говорю: извините, почему же меня не предупредили, что такой человек, почему ж вы меня к ней поставили на квартиру. Вот Анка и подала на меня, что я полицаем был, а я ж водовозом просто в комендатуре работал... Случайно узнал, дай Бог здоровья... Народ всюду есть хороший... Да... Полковник, он сразу разобрался... Дай Бог здоровья... Ты насчет матери к нему... — Вася вдруг остановился с полуоткрытым ртом, с выпученными глазами, прижал руки к горлу, лицо его исказилось, и он закашлялся, словно захлебнулся воздухом. Кашлял он долго, надрывно, роняя изо рта мокроту с красными прожилками на свежий ворот рубахи Сашенькиного отца, торопливо, скрюченными пальцами расстегнул пуговичку под горлом, будто она его давила, хоть ворот был велик и, провисал. Ольга заметалась вокруг Васи, застучала ему кулаком по спине, точно он проглотил кость и крикнула Сашеньке сердито, требовательно!

— За водой на кухню сбегай, чего сидишь...

Сашенька вскочила и покорно побежала на кухню. Когда она вернулась, кашель у Васи уже прошел, он сидел, улыбаясь, вытирая слезы, и Ольга сидела подле него успокоенная.

— Уже не надо, — ласково сказала она Сашеньке, — захворал вот наш Вася, — добавила она, точно Вася был так же

дорог и Сашеньке, — ничего, вылечим... Ты кружку на кухню-то поставь...

— Ничего, — сказал Вася, — легкая кондрашка прохватила, — главное, я теперь вольная птица... Полностью оправдан... Теперь работать буду... На перчаточную фабрику устроюсь...

В Ольгины волосы сзади воткнута была изогнутая гребенка, Вася вытащил ее и принялся расчесывать Ольгу, он осторожно подхватывал влажные ржаные пряди снизу левой рукой и проводил по ним гребенкой, расчесал посреди Ольгиной головы белый вымытый пробор. Ольга жмурилась от наслаждения, терлась рябой щекой о Васин подбородок и похожа была на старую, обрюзгшую кошку, которую давно не ласкали.

— Если б не выпустили, — сказал Вася, — сегодня б в Гайву отправили... Ты с матерью-то попрощалась? Их в двенадцать отправлять будут...

— Я болела, — сказала Сашенька. — Я сейчас... — Она торопливо надела шубку и выбежала на улицу. Возле лестницы Сашеньку поджидали сыновья Шумы со снежками. Глаза тринадцатилетнего Хамчика горели упрямо и фанатично, снежки его были хорошо утрамбованы, слегка согреты в ладонях, а потом опять заморожены, так что превратились в круглые, со свистом рассекающие воздух ледяшки. Младший же сын Шумы, пяти лет, лепил снежки неумело, они рассыпались в пыль, и это его веселило, лицо младшего было круглое, розовое, а глаза не свирепые, а озорные. Сашенька так спешила, что ей некогда было отмахиваться от Хамчика, он гнал за ней до конца переулка и два раза больно попал ледяными снежками, один раз по ноге, а второй раз в затылок между воротником и шапочкой, видно, Хамчик бил с толком, ни один снежок его не попал в пальто на ватной подкладке, он целил либо в голое тело, либо туда, где тело было наиболее плохо защищено.

Когда Сашенька подбежала к трехэтажному зданию, верхние этажи которого были окованы цинком, ворота уже были распахнуты и провожающие родственники на другой стороне улицы волновались: видно, сейчас арестантов должны были

вывести. Сашенька узнала женщину в каракулевой шубке. Она стояла, жадно вытянув шею, глядя на ворота, и в руках ее опять была вкусно пахнущая корзина. Тут же был и высокий крестьянин, он стоял, опершись на забор, спокойно покуривая. Старушка, у которой не принимали передач, тоже была здесь; глаза ее слезились, она поминутно доставала сизыми, обмороженными пальцами из-за пазухи завязанный узелком платок, проверяя, на месте ли. В самом конце толпы стоял "культурник" в подбитом мехом танковом шлеме. Сашенька едва не столкнулась с ним и торопливо спряталась за спину. Из ворот вышел знакомый Сашеньке белобрысый дежурный. Дежурный был в полушубке, на ремне у него висел маузер в большой кобуре. Дежурный с беспокойством посмотрел на толпу и сказал:

— Граждане, ведь предупреждал, никаких передач принимать не будет... На то было время в отведенные часы, как положено...

— Товарищ начальник, — дрожащим от уважения голосом, сказала женщина в каракуле, — а я приготовила продукты мужу... Как же быть...

— Продукты можете выслать посылкой... Адрес скажут в бюро пропусков... Острые режущие предметы и спиртные напитки не принимаются, — привычно и скучно ответил дежурный, — значит, граждане, предупреждаю, если будете создавать беспорядки, охрана применит силу... В ваших же интересах... В общем, ясно?

Несколько секунд длилось молчание.

— Ясно, чего там, — спокойно ответил за всех высокий крестьянин.

— Ну, вот и хорошо, — сказал дежурный и, обернувшись к воротам, крикнул:

— Диденко, пошли!

Первыми из ворот вышли два милиционера в телогрейках и кубанках, у одного на кубанке еще сохранилась красная партизанская ленточка наискосок. Милиционер с партизанской ленточкой держал наизготовку трехлинейку без штыва, второй милиционер был с тяжелым немецким автоматом,

висевшим у него на груди. Потом потянулись арестанты по четыре в ряд. В одной части здания была милиция, а в другой МГБ, где содержались бывшие полицаи, крупные бандиты и арестованные по политическим делам. Но при отправке на станцию конвой был общий. Арестанты были молодые и старые, высокие и низкие, в основном, мужчины, но было и несколько женщин, однако, все они были чем-то похожи, голубоватым ли цветом лица или соблюдением порядка, дистанции и правил поведения при следовании, которые незнакомы людям свободным. Арестанты были окружены плотным конвоем в разноцветных шинелях: серых армейских, синих милицейских, а также из английского зеленого сукна. Были также милиционеры в партизанских полушубках и телогрейках. Вооружены конвойные были русскими трехлинейками, автоматами ППШ с круглым диском, немецкими автоматами с тяжелым цилиндрическим, как у пулемета, кожухом и тонким стволом. Дежурный шел впереди, помахивая маузером, который он держал дулом вниз. Была среди арестантов группа, которую вели отдельно, и не в ряд, а кучкой. Кроме конвоя, их сопровождали две большие овчарки. В группе этой шел высокий широкоплечий человек с квадратной челюстью, багровым рубчатым шрамом у уха и мутными глазами. Руки его в двух местах, в кистях и у локтей, были крепко стянуты за спиной толстой веревкой. Рядом с ним шел тщедушный паренек с впалой грудью, бледный, узкоплечий, но тоже связанный не менее тщательно. Шел в этой группе и Шостака, он не был связан, но, очевидно, согласно арестантскому уставу держал руки за спиной. Лицо у Шостака было неживого землистого цвета, его беспрерывно душил кашель, и он время от времени вытирал свои мокрые склизкие губы о плечо. Четвертым в этой группе шел пожилой мужчина в пенсне. На нем было хорошее бобриковое пальто, а на голове никак не гармонирующая с этим пальто, явно чужая рваная ушанка малых размеров, смешно торчащая на темных, с сильной проседью волосах, на самой макушке, и не прикрывающая озябших ушей. Мужчина старался держаться подальше от Шостака, безглаголиво отворачивался, чтоб брызги при кашле не попали

ему в лицо. Он тоже заложил руки за спину. Покосившись по сторонам, мужчина воткнул ладони в рукава, грея их, словно в муфте, но молодой милиционер-конвойный заметил и крикнул:

— Ну-ка вынь... Опять балуешь...

Видно, это было не впервой, мужчина торопливо вытащил ладони наружу, шевеля ими, чтобы согреть пальцы. Впрочем, перчатки на нем были вполне приличные, из шерсти двойной вязки.

Сашенькина мать шла в третьем ряду, крайней слева, с противоположного конца от тротуара, на котором стояли провожающие. В одном ряду с ней шли две черные женщины в длинных юбках, подметавших снег, очевидно, цыганки, шел молодой паренек лет 15—16 и крестьянин, очень похожий на высокого крестьянина, но пониже. Крестьянин этот отличался от других арестантов здоровым цветом лица, и его спокойный вид человека дисциплинированного и умелого работника говорил, что он на хорошем счету у надзирателей и после суда послан будет не за пределы республики, а в один из ближайших лагерей, может, даже на строительство местного вокзала, разрушенного бомбой.

Сашенькина мать одета была не в свое драное старое пальто, а в теплый армейский бушлат, который Сашенька раньше видала на "культурнике". На ногах у нее были кирзовые сапоги, те самые, в которых она носила замерзшие куски каши, котлеты, пончики, иногда мешочек риса либо сахара, продукты, которые мать утаивала при закладке в общий котел или уже в готовом виде урывала при раскладке за счет уменьшения порций личному составу.

Голова матери повязана была платком по-старушечьи низко, так что лицо ее сделалось для Сашеньки мало знакомым, особенно, обострившиеся скулы. Странно также Сашеньке было видеть, как мать дисциплинированно и умело выполняет команду конвоя, придерживая шаг, когда колонна поворачивала, соблюдая дистанцию. Однако, когда колонна полностью вышла из ворот и показались два замыкающих милиционера, арестанты начали проявлять беспокойство, смотреть по

сторонам, искать родных, и мать тоже смотрела, не обращая внимания на окрики конвоя. "Культурник", расталкивая окружающих, пробрался к самому оцеплению, хоть ему и мешала раненая нога и держался он с трудом, так как вокруг толкались другие провожающие. Мать заметила его, и лицо ее сразу расцвело, стало даже красивым, молодым, несмотря на старушечий платок, и она посмотрела на "культурника" с такой любовью, что у Сашеньки больно, недобро и ревниво сжалось сердце.

Сашенька торопливо спряталась за чужие спины и, чтоб озлобить себя, начала думать, как мать ударила ее и как она опозорила героическую память отца, а квартиру отдала двум нищим, выгнав на улицу родную дочь. Раньше мысли эти наполняли все тело, особенно голову, быстрой, кипящей от злобы кровью, так что сердце не поспевало вослед и стук его отдавался всюду: в висках, в ногах, под горлом, в ушах. Теперь же Сашенька думала обо всем этом вяло и скучно и сама не знала, чего хочет, у нее сильно болели нога и затылок, в которые Хамчик попал ледяными снежками.

Лицо "культурника" при виде Сашенькиной матери тоже изменилось, стало мягким и нежным до смешного, на лбу его у бровей, были следы от брызг расплавленной брони, навек застывшие, собравшие кожу в губчатые пористые пятна. Теперь же вокруг пятен появились морщинки, какие бывают у человека с ямочками на щеках, когда он хочет рассмеяться.

— Катя, — сказал "культурник" ласково, хоть шея его стала красной от напряжения, так как правым локтем он удерживал высокого крестьянина, пытающегося протиснуться вперед, левый бок жала впавшая в отчаяние "каракулевая" женщина, а грудью он сдерживал давление конвойного, гнувшего в три погибели.

— Катя, — сказал "культурник", — ты не волнуйся, все будет хорошо... Я напишу своему генералу... Я ходатайствовать буду... О смягчении ходатайствовать... Учитывая твое... в общем... — "Культурник" держался с трудом, раненая нога его буксовала по утоптанному скользкому снегу.

— Сашенька как, Саша? — крикнула мать, привстав на цы-

почки, так как ее заслонял упитанный крестьянин-арестант.

— Хорошо, — почти падая уже под всесторонним напором, крикнул "культурник" — у жены ответработника она... Имя забыл... Хорошо ей...

— Увидишь, — еще более привстав и вытянув шею, крикнула мать, — передай, пусть простит... Пусть простит свою мать... Что я ее родила, но не обеспечила и опозорила...

По лицу матери текли слезы, оно сразу поблекло, стало старым и больным.

— Мама! — вдруг неожиданно для себя крикнула Сашенька и начала рваться вперед с таким ожесточением, что мгновенно уперлась в казенно пахнущую спину милиционера, стоя в распахнутой, с оторванными пуговицами, шубке.

— Сашенька! — отчаянно крикнула мать, — Сашенька...

— Я здесь, — испуганно лепетала Сашенька, уговаривая, успокаивая мать, будто маленькую, — я здесь, мне хорошо... Ты вернешься... Искупишь вину... Я буду работать... Я на перчаточную фабрику устроюсь...

— Сашенька, — продолжала кричать мать, — Сашенька...

Она повторяла только это, будто забыла разом все остальные слова или не хотела тратить дорогие секунды на другие слова, на длинные фразы, на придаточные, сказуемые и глаголы, которые Сашенька в школе тоже никак не могла запомнить... А тут в одном слове было все: и то, как она боится не вернуться из заключения и не увидит больше дочь, потому что не спит уже седьмую ночь подряд, в камере тридцать человек, душно, мысли не дают покоя, и болит сердце постоянно, так что даже стало привычно. А время от времени, особенно под утро, ноют суставы, шелушится кожа на распухших от мытья котлов руках, после суда будут тяжелые земляные работы, как у всех осужденных без квалификации. Хорошо, если удастся устроиться на кухню. И про свою неудачную жизнь рассказать хочется, кому ж еще, как не дочери... Как хотела она любить, как тосковала одна ночами столько времени, как уходила молодость, как от тяжелых котлов испортилась фигура, как забыла запах пудры, помады и одеколona, как отяжелели ноги в кирзе и у ступней появи-

лись костяшки-выступы, так что большой палец правой ноги вовсе вогнулся внутрь и теперь уж нельзя даже мечтать о туфлях на высоком каблуке. А дочь выросла красивая, но злая и нервная, и за это нет ей, матери, прощенья. И еще была одна вещь, которой хотелось поделиться, потому что давила она сердце, но поделиться этим нельзя было с родной дочерью, а, скорее, с человеком случайным, но понятливым, лучше с пожилой женщиной, легче бы стало, однако, в камере не нашла она ни одной такой, с кем бы можно было о том поговорить. Впервые после Сашенькиного отца имела она мужчину, и теперь ей было тяжело без него. Пять лет ждала она мужа, сдерживала себя, стонала ночами, мяла о подушку сохнувшие груди, а теперь разом все излила в два месяца, ей было тоскливо и стыдно от пробудившихся острых желаний, терзавших ее нездоровое, быстро стареющее тело, и было обидно оттого, что не удалось насытить его перед концом, пока оно заглухнет окончательно и состарится, потому в ее возрасте каждая секунда дорога, а уйдут месяцы и годы на нарах в одиночестве. Об этом дочери сказать нельзя было, однако хотелось, чтоб она поняла эту ее тоску, хотя бы неясно для себя, вернее, именно неясно для себя, так лучше, но простила б и пожалела.

Оттого, что Сашенькина мать остановилась, закричала и сбилась с ноги, ряды арестантов сломались, и возникла суматоха. Старуха Степанец нырнула вдруг ловко и бойко между цепью конвойных и, не обращая внимания на рвущуюся к ней овчарку, охватила связанного тщедушного паренька, заголосила. Женщина в каракуле пыталась кинуть своему мужу в бобриковом пальто вкусно пахнущую корзинку, но молодой милиционер-конвойный отбросил корзинку ногой, и Сашенька, рванувшаяся к матери, наступила мимоходом на отварной телячий язык, заправленный чесночком, вдавливая его каблуком в снег. Пробежал белобрысый дежурный, что-то крича, и двое конвойных схватили, повисли на высоком связанном арестанте с мутными глазами. Только высокий крестьянин не поддался суматохе: деловито и четко он передал за спиной милиционера своему брату завернутые в промаслен-

ную холстину куски сала, две буханки круглого домашнего хлеба и несколько пачек папирос "Беломор". Все это мгновенно исчезло в рюкзаке упитанного арестанта. К матери Сашеньке пробиться не удалось, арестантов оттеснили назад во двор и заперли ворота. Старушку Степанец закрыли в караульном помещении. На крыльцо вышел очкастый майор. Бледный дежурный говорил ему что-то, жестикулируя.

— Составить список, — громко говорил майор, — лишить права передач и посылок... И выяснить зачинщиков...

Он повернулся и ушел назад, не глядя на толпящихся родственников, которые сами теперь были напуганы случившимся.

6

Когда "культурник" подошел сзади к Сашеньке и взял ее за плечо, она рванулась, хотела убежать, но он держал ее крепко, так что от железных пальцев его ныла Сашенькина ключица. И в то же время "культурник" говорил ласково.

— Ты, Саша, не дичись... Я тебе худа не сделал, но если не нравлюсь, не признавай меня посла... А пока матери помочь надо... Я этого дежурного знаю малость... Тоже фронтовик... Подождать надо... Фронтовик фронтовика уважить должен... Майор сухой сердцем, а начальник в разъездах. Один дежурный там ничего...

— Куда вы меня ведете? — сердито спросила Сашенька.

Они шли по каким-то узким проходам, между заборами, среди запорошенных снегом огородов, на которых кое-где шелестели остатки прошлогодней сухой кукурузы.

— Вон там он живет, — сказал "культурник", кивнув на низкую, совсем сельскую мазанку с белыми стенами и соломенной крышей. Мазанки эти сплошь и рядом встречались не только на дальних улицах, но даже в центре, во дворах, за кирпичными домами. Здесь же таких мазанок в два-три оконца раскидано было с десяток среди огородов и вишневых деревьев. Кудлатые непородистые собаки рвались с цепей на чужаков, носились вдоль низких плетеных заборов-тынов.

Мазанки эти с одной стороны подступали ко двору восстановленной недавно двухэтажной городской больницы, а с другой — к выстроенным в тридцатые годы красным корпусам, где жили рабочие завода "Химаппарат".

— Давай посидим, — сказал "культурник" и уселся на лавочку, сколоченную у ворот, но не перед домом дежурного, а чуть в стороне, так что подход к этому дому хорошо просматривался.

— Он на обед идти должен... Я уж раз с ним толковал здесь...

— Пустите плечо, — злобно сказала Сашенька.

"Культурник" смущенно разжал пальцы, и Сашенька повращала рукой, разминая похрустывающие суставы. Дурные предчувствия томили ее, а болезнь, неожиданная растерянность перед Васей и Ольгой, внезапная жалость, тоска, даже нежность к матери, совсем ослабили Сашеньку, и она поняла, что должна озлобиться, чтоб окрепнуть.

— Гляди, — сказал вдруг "культурник", — вот шельма, тоже пронюхала...

Шарахаясь от рвущихся собак, вдали между заборов пробиравалась женщина в каракуле.

— Спекулянтка, — сказала Сашенька, — и муж ее спекулянт. Таких к ногтю надо...

— Нет, — ответил "культурник", — это не уголовная... По 58-ой статье ее мужа пускать будут... Враг народа... В Пединституте учителем литературы был... этих мне не жалко... Мы на фронте за родину костей не жалели, а они родиной за иностранные деньги торгуют... Знаешь, какие слухи ходят... Мне дружок говорил, фронтовичок... Умный парень... Девять классов образование... С союзниками нашими не очень чисто... Я и сам англичан не очень люблю... Американцы, те ребята ничего, я от них технику принимал... А англичане Советскую власть шибко не любят... Дружок мой, он парень не промах, раз говорит, верить можно...

Женщина в каракуле между тем перебралась через мосток, проложенный над канавой, и, привалившись к плетеному забору, принялась также вглядываться в тропку, вьющуюся

среди заснеженных огородов, ноги ее в фетровых модных ботах, видно, зябли, и она постукивала задниками бот одну ногу о другую.

— Перехватит дежурного, — с тревогой сказал "культурник", — вот народ... Пройдоха народ... Ты бы здесь посидела, а я с фланга, может, пойду...

Но в этот момент послышался шорох прошлогодних стеблей кукурузы, — это шел на обед дежурный, но не по тропке, а огородами, сзади, и таким образом, жена врага народа в каракулевой шубе оставалась при пиковом интересе. Однако дежурный был не один. Его уже перехватила где-то, очевидно, неподалеку, старушка Степанец. Лицо дежурного было растерянным и усталым, а глаза беспокойно бегали.

— Отстань, бабка, — хрипло, сорванным голосом говорил дежурный, — я чего могу... Судить его будут... Я ж не судья...

— А худой он какой, сыночек мой, — причитала старушка, — каждую косточку видать... Больной весь... Кровью кашляет... Еще до войны кровью кашлял... В область его возили... Прохвессор сказал в тепле держать... Теплое молоко пить по утрам и перед сном... С медом...

— Чего ты мне голову морочишь, — рассердился дежурный. — К начальнику иди... К майору иди... Убийца сын твой, понимаешь?.. Он граждан мирных убивал... На него протокол есть... Понимаешь?.. Когда детей из детдома стреляли... Цыган и евреев... И в районе вашего села он в расстрелах участвовал... Тоже протокол есть...

— Пустили б меня к нему, — причитала старушка Степанец, словно не слыша, что ей говорит дежурный и твердя свое, — мне места не надо... Я б возле него на полу спала... Больной он. Может, прибрать что от него надо или подать надо...

— Завтра приходи, — очевидно, чтоб отвязаться, сказал замученный дежурный, — приходи в час дня в канцелярию...

— И справку принести? — спросила обнадеженная старушка, несколько даже осмелев.

— Какую еще справку? — удивился дежурный.

— Где про его болезни сказано, — ответила старушка.

— Хорошо, — махнул рукой дежурный, — И справку принеси...

— Спасибо тебе, — поклонилась старушка и перекрестилась, — добрый ты... На тебя все так говорят... Дай тебе Бог удачи... — она пошла назад вдоль по тропке.

Стало заметно холодней, подул ветер, сдувая снег с вишневых деревьев и прошлогодних сухих стеблей кукурузы. Чувствовалось приближение метельной, морозной ночи, будто и дня не было, а позднее утро сразу переходило в рано наступающие сумерки.

— Ты что ж это, Степанец, — крикнул дежурный вслед старушке. — Семь километров сейчас потопаешь?..

— Семь, — оборачиваясь, ответила старушка.

— Пешком?

— Подводы не найдешь, — сказала старушка, — поздно... Это пораньше бы, может, и подвез кто...

— И полем все? — спросил дежурный.

— До Райков поле, — сказала старушка, — пося лесопосадка и вниз под уклон... Пося снова поле... Из городу легко идти, а в город тяжелее... Не с горы, а на гору... А пока на гору взберешься, упреешь вся...

— Ты вот что, — сказал дежурный, — ты лучше завтра не приходи... Ты через три дня... Боюсь, начальника не будет, а без него чего можно решить...

— Нет, — сказала старушка. — Я приду... Вдруг будет... Передачу, может, разрешат... Я сыночку пряники с медом напекла... А не будет начальника, я назад пойду...

Она перекрестилась и пошла по проходу между заборами, сгорбленная, часто по-старушечьи семена огромными валенками, перевязанными по-хозяйски вокруг ступней тряпками, набитыми для утепления соломой. Семена валенками, дойдет она до окраин города, потом пойдет ночным метельным полем через спящие Райки будоражить собак, через замерзшую лесопосадку под гору, скользя по укатанному санями снегу, и так семь километров до самого Хажина... А утром в город, к сыну...

Старушка давно уже скрылась, а дежурный все не шел обедать, хоть мазанка его была рядом, все стоял и думал чего-то.

— Подойти сейчас, что ли? — шепнул "культурник" Сашеньке.

Но женщина в каракулевой шубке опередила их. Стремглав, спотыкаясь, и даже разок упав очень смешно, так что каракулевый капор съехал ей на ухо, женщина кинулась через огороды к дежурному. Она зацепилась пыльным, с буфами, рукавом о ржавый моток колючей проволоки, свисающий со столба, и разодрала рукав так, что лоскутья каракуля повисли. У Сашеньки на мгновение радостно екнуло сердце, потому что она ненавидела женщину за то, что та тоже красивая, может, красивей Сашеньки и имеет шубку, какой у Сашеньки нет, а также еще за что-то неясное, но как Сашенька догадывалась, в этом неясном и была главная причина нелюбви Сашеньки к этой женщине. Однако сейчас Сашенька радовалась недолго, потому что недобрые предчувствия томили ей сердце. Может, одним из этого неясного было то, что Сашенька где-то смутно, в подсознании, начала догадываться: женщина эта знала и успела пожить жизнью, которая не то что не была Сашеньке доступна, но Сашенька даже не умела мечтать о такой жизни, впрочем, может, о той жизни и были легкие, не имеющие формы сны, которые очень редко снились Сашеньке и в которых было не меньше захватывающего дух счастья, чем в ночных физических томлениях, когда во сне они оканчивались диким сладким восторгом, приводящим к покою. В тех редких бесформенных снах, очень редких, так что за всю жизнь Сашенька помнит, может, два или три таких счастливых состояния, а кроме состояния не помнит ничего, ни одной детали, впрочем, однажды она запомнила пейзаж какой-то местности, в которой не была никогда, залитой лунным светом, в тех редких снах тоже был восторг и была сладость, но не было дикости и тоски, и все это не кончалось покоем, который вскоре переходил в скуку и переходил даже в неприязнь к недавней сладости, потому что покой присутствовал не всегда, и восторг, и сладость в тех снах все время были полны покоя, там ни к чему нельзя было прикоснуться,

ни к окружающим предметам, ни к себе, это единственное, что Сашенька помнила твердо.

Женщина в каракуле, между тем, подбежала к задумчиво стоящему дежурному.

— Товарищ начальник, — сказала женщина дрожащим от уважения голосом.

Дежурный поднял голову и оторопело посмотрел на женщину. Дежурный был молод, и женщина, решив, что он разглядывает ее красивое лицо, кокетливо опустила ресницы, а левую руку, на которой был разодран рукав, спрятала за спину, зажав в ней хозяйственную сумку.

— Я хотела бы с вами говорить наедине, — шепотом, заставлявшим, может быть, биться не одно мужское сердце, проговорила женщина, — главное, выслушайте меня... Я давно добивалась свидания с вами... Именно с вами, — она сунула правую руку за пазуху своей каракулевой шубки и вытащила несколько тетрадей в коленкоровых переплетках.

— То, что произошло с моим мужем, недоразумение, — торопливо, боясь, что ее прервут, заговорила женщина, — может, он резок, может, он иногда туманно выражается, но это очень талантливый человек... Поверьте... Его не поняли... Я не хочу сказать, что его оклеветали умышленно... Его не поняли... У нас есть много знакомых в Москве... Уважаемых лауреатов... Я написала им, как только это случилось... Я уверена, они прислали характеристики... Либо пришлют... Обратите внимание... Мой муж тяжелый человек, я знаю... Я сама с трудом его временами терплю... Но он талант... Он эрудирован... Он владеет четырьмя языками... У него переводы с английского... Он переводил Байрона... И Лорку... Это с испанского... Вот смотрите, слушайте... Это талант... — Она неловко, подбородком, потому что левая рука была занята, раскрыла верхнюю тетрадь и начала читать негромко, очевидно, наугад, то, что оказалось перед глазами. "Дитя у тебя родится прекрасней ночного ветра. Ай, свет мой, Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый! Я б ложе твое заткала гвоздикой и горчицетом. — С миром Анунсиансион, звезда под бедным нарядом! Найдешь ты в груди сыновьей три раны с родинкой рядом.

Ай, свет мой, Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый. Как ноет под левой грудью, теплом молока согретой!.. Дитя запеваает в лоне у матери изумленной. Дрожит в голосочке песня миндалинкой зеленой. Архангел восходит в небо ступенями сонных улиц. А звезды на небосклоне в бессмертники обернулись!"

Дежурный смотрел на женщину все с большим изумлением, потом лицо его потемнело, потом налилось густой краской, и он впал в тот страшный гнев, который чрезвычайно редко нисходит на людей добрых и незлобивых, но который особенно бывает страшен у таких людей в те минуты и подлинные причины которого не вполне понятны ни им, ни окружающим. Впрочем, кончив читать, женщина, чтоб усилить впечатление, действительно, позволила себе несколько двусмысленные взгляды и движения, которые при желании можно было принять за попытку соблазнить...

— Сука! — закричал дежурный и, выбив тетради у женщины из рук, наступил на них ногой, — использовать меня хочешь... Подсунуть филькину грамоту... Купить... В сорок втором я б тебя не задумываясь... В партизанах... Я б тебя прошил... Я б из автомата тебя...

Женщина, тоже потеряв страх и обезумев, упала на колени и стала с силой выдергивать тетради из-под ноги дежурного. Некоторое время со стороны они представляли странное зрелище: дежурный изо всех сил прижимал тетради ногой к земле, а женщина тянула так, что глаза ее выпучивались и подрицованные брови поверх выщипанных размыло потом, краска потекла по лицу. Наконец, то ли женщине удалось выдернуть тетради, то ли дежурный, опомнившись, отступил. Женщина торопливо спрятала тетради на груди и, очевидно, окончательно перестав ориентироваться в ситуации, протянула дежурному корзинку.

— Это вам, — пролепетала она, — здесь мясо жареное с чесночком... И печенье домашнего приготовления... С яичным порошком...

— Взятку мне давать! — крикнул несколько успокоивший-

ся было дежурный, — да я тебя упеку... Вместе с мужем... Параша таскать будешь...

Женщина не то чтобы крикнула, а скорей, пискнула, словно попавшая в силки птица, и побежала через огороды, ударилась о забор и скрылась. Дежурный дышал, как после переноски тяжестей, он расстегнул полушубок, расстегнул китель и подставил морозному ветру взмокшую от пота тельняшку. "Культурник" подошел к нему сзади, осторожно похлопал меж лопаток. Дежурный вздрогнул, обернулся и, увидав "культурника", сказал успокоенно:

— А, это ты, фронтовичок... Ну-ка, пойдем ко мне... Я рядом тут живу... Жена борща наварила... Пообедаем...

— Я не один, — сказал "культурник" и кивнул на Сашеньку.

Дежурный глянул на Сашеньку и, кажется, узнал, но не сказал ничего.

Они вошли в небольшой дворик, а оттуда в низенькую ма-занку с земляным полом, где действительно вкусно пахло только что сваренным борщом.

— Гануся, — ласково сказал дежурный жене, — ты нам дай перед обедом по стопочке... По самой маленькой, потому что мне же еще на работу...

Жена дежурного Гануся была похожа на мужа словно сестра, такая же белобрысая. Она легко и тихо накрывала на стол, мягко ставила алюминиевые миски, умело, одинаковыми ломтями, резала хлеб, и дежурный следил за ней с ласковой улыбкой, а в глазах его была вечная любовь до самого гроба, которую подтверждала надпись густой, невыводящейся трофейной тушью у запястья: "Ганна" написано было большими буквами, так что "Г" верхней головкой касалось выпуклых синих жил, проступающих сквозь кожу, словно имя любимой омывалось и пропитывалось живой кровью.

— Уйду я с этой работы, — чокнувшись с "культурником" и выпив, сказал дежурный, — трое суток не спал уже... И вчера на банду ходили в Райковский лес... Кореша рядом со мной из автомата пополам разрезало... Кишки наружу... — Он ска-тал из хлеба мякиш, мякишом этим подобрал со стола хлеб-

ные крошки, проглотил, — но дело не в том... Ты меня понимаешь... Мы смертей и кишок за три года навидались... Не в том дело... Добрый я слишком для такой работы... Кто про меня этот слух пустил, не знаю... Но только идут ко мне и идут... Все прошения ко мне... Не к майору, не к начальнику... Вот старуха Степанец ходит каждый день... А сыну не меньше двадцати пяти лет светит... Хотя он и года, думаю, не протянет... Чахотка... Так, с чахоткой, и в зондеркоманду пошел... У нас показания имеются... Некоторые из трусости шли, а он добровольно, даже принимать по болезни не хотели... Добивался... Начальнику гестапо жалобу на местную полицию писал... У нас этот документ к делу приобщен... А сегодня вообще денек... И эта подвернулась, соблазняет меня... Брови навела, читает что-то, то ли русское, то ли нерусское... Арестант у нас есть, по 58-ой проходит... Измена родине... Хотя много, конечно, и лишнего пишут, говоря прямо. Кто по злобе счета сводит, кто не разобравшись... А тут еще сегодняшняя неприятность. Арестантов к вокзалу не довели... Теперь ночью отправлять надо... Выговор я заработал, это уже третий у меня.

Гануся вынула из печки чугунок. Необыкновенно вкусный пар шел от него, так что от пара этого опьянеть можно было. Это и был украинский борщ, который готовился только в чугунке и только в деревенской печи, он был цвета венозной крови, темный и тягучий, и ложка, поставленная торчком, не падала в нем, застряв меж реквизированных у спекулянтов овощей, большая часть которых, без сомнения, шла в детдом, меньшая же в столовую органов и, по желанию, для семейных — сухим пайком. Картошка в борще этом была не склизкая, мороженая, а мягкая, маслянистая, капуста не напоминала вкусом горьковатые листья с осенних деревьев, а напоена была соком хорошо унавоженных частных огородов, бурак был не бледно-розовый, терпкий, а темно-вишневый, сладкий, мясо не резиновое, с костями, а сочное, легко рвущееся на ломтики, пропитанное жирком, утаенное от немецких реквизиций и вскормленное, очевидно, лучшими кусками ворованного колхозного силоса. Съев миску такого борща, можно было

день спокойно ходить сытым, только пить время от времени воду, чтоб растворить жир и облегчить переваривание. Уж на что хорошо питалась Сашенька у Софьи Леонидовны, но такой приятной сытости она никогда не испытывала. От этой сытости она и вовсе ослабела и поняла, что пропала, потому что смутно предчувствовала какой-то подвох и даже предугадывала, с какой стороны.

— Гануся, — беззвучно отрывая в ладонь, сказал дежурный, — позвони, скажи — я к вечеру буду... Вчера на облове был ночью, пулей рукав полушубка порвало... Залатать надо, промежду прочим... Делов сейчас никаких, я к отправке арестованных буду в половине первого ночи, — он обернулся к "культурнику". — Давай еще по одной, — он налил две полных стопки и до половины плеснул Сашеньке. — Ганна, — позвал он, — давай и ты... Дружка встретил, фронтовичка, однополчанина... Ты ж с Третьего Украинского?

— Нет, — сказал "культурник". — Я на Первом Белорусском.

— Ничего, — сказал дежурный, — главное, общий враг как внешний, так и внутренний...

Подошла Ганна, покрасневшая, с высокой крепкой грудью под вышитой блузкой. Она взяла свою стопку двумя пальцами, отставив мизинец. Дежурный чокнулся со всеми, выпил и вместо закуски сочно поцеловал жену в губы.

— Куцый меня вчера чуть не срезал, — обиженно сказал дежурный "культурнику", — в Райковском лесу... На мушку он меня, видать, взял хорошо, самый срез под левый бок... А собачку нажимал, дернул, не иначе, поторопился... Но я уж от такой обиды ему череп рукояткой погладил... Майор ругался, допрос даже снять нельзя... И в сознание не пришел... Но мне ж обидно, пойми... Не жизни мне жалко — сегодня все живем, а завтра все помрем... Не жизни мне жалко, а бабу такую оставлять жалко... Никак я ей не наемся... Год уж все бежит слюна и бежит.

— Петрик, — зардевшись, сказала Ганна, — ты лишнее не варнакай. — Ганна подняла белую ручку свою, расслабленную в кисти и сначала коснулась костистой сухой руки дежурного

запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев, царапая ноготками.

— Меня убивать никак нельзя, — рассмеявшись сказал дежурный, — я годовый молодожен... Слушай, фронтовичок, женись, чего ты тянешь... Бабы не найдешь?.. Не верю... Мужчины теперь подорожали... Мертвецы нам цену подняли...

— Вот о том я с тобой потолковать хотел, — сказал "культурник" — про бабу свою... Разве не помнишь?..

— Постой, постой, — сказал дежурный, распрямляясь, словно на службе за канцелярским столом, а не в своем доме, — ну-ка, Ганна, пойдди, тут разговор у меня.

Ганна встала и, вздохнув, вышла.

— Так, — сказал дежурный, — это ты насчет той арестантки приходил... А я тебя с кем-то перепутал... Но не беда... Ты фронтовик и тот фронтовик... А насчет тебя я помню, теперь припоминаю ту историю... Трое суток не спал по-человечески, в голове кавардак, — он отодвинул стопку и вдруг пристально глянул на Сашеньку, так что сердце ее сжалось от сбывающихся предчувствий. — Понимаю, — сказал дежурный, — теперь все хорошо вспомнил... Ну и что ж ты хотел? — обернулся дежурный к "культурнику", — были у нас случаи, когда истец берет назад заявление и мы закрываем дело... Но теперь то обвинение держится не на заявлении дочери, а на вещественных доказательствах... Твою ж бабу прямо в проходной взяли с продуктами... В сапогах прятала и еще в некоторых женских местах, ты уж извини... Протокол имеется, подписи свидетелей... Заявление теперь можно даже изъять, оно роли не играет...

— Какое заявление? — удивленно спросил "культурник".

— Ладно, — сказал дежурный. — Ваньку не разыгрывай, не люблю я этого... Вы что, плохо договорились между собой? Я к тебе хорошо отнесся, как к фронтовику, так ты это учти. Я тебе просто посоветую, ты пока не хлопочи за нее совсем. Тогда получится, что она вдова летчика-орденоносца... Героя боев за Варшаву... Подвиг отмечен специально в центральной прессе... У нас все это имеется... А то, что она спит с тобой, это подчеркивать не надо для юридического документа...

— Поимели бы совесть, кобели, — неожиданно с порога крикнула Ганна, — при дочери такое говорить... Нализались самогонки...

— Ганна, — сказал дежурный как можно строже и, поверотившись корпусом к жене, вытянул в ее сторону руку ладонью кверху, с растопыренными пальцами, как бы отгораживая жену от происходящего в комнате разговора, — Ганна, ты в мои служебные дела не путайся...

— Да разве ж можно при дочери такое на мать говорить, какая она там ни есть воровка или спекулянтка, — сказала Ганна, — дочь-то позеленела вся...

— Наплевать, — закричала Сашенька, вскакивая.

Крепкий мясной борщ, смешавшись с глотками сахарного самогона уже не убаюкивал и расслаблял, а, наоборот, возымел обратное воздействие и как-то сразу выстроил новые картины в сознании, и картины эти похоронили колебания и сомнения насчет матери, которая никогда не думала о Сашенькином будущем. Мать Сашеньки была грубой, развратной женщиной, которая потеряла уже право на память героя-отца и связь с которой могла лишит и Сашеньку права на эту память. Матери у Сашеньки больше не было, но зато была Софья Леонидовна, которой можно было отдавать пенсию за отца, чтоб спокойно можно было там жить и питаться.

— Наплевать! — закричала Сашенька, — я и не возьму назад заявление... Вот... Эта женщина родила меня, но не воспитала... А мать не та, что рождает, а наоборот... То есть кто выращивает. Знать не хочу... Мой отец за родину... Он сражался... Отдал жизнь...

Вдруг слезы сами потекли, да так обильно, что мокрыми стали не только лицо, но и грудь, и руки, и пряди волос, которые, растрепавшись, ниспадали на Сашенькины щеки. Ганна взяла Сашеньку за плечи, теплые руки ее пахли сушеными вишнями, но запах этот лишь в первый момент приятно повеял на Сашеньку, в следующее мгновение Сашеньке стало жаль себя, а теплые вкусные руки Ганны еще более распалили эту жалость и обиду на жизнь. Сашенька вырвалась, глянула ис-

коса на застывшего в изумлении дежурного, а на "культурника" глядеть не стала, повернувшись к нему спиной, потом Сашенька шагнула в сени, схватила шубку, пуховый берет и выбежала на морозный воздух, побежала уже в полной тьме, между тем наступившей. Такой черной ночи Сашенька давно не припомнит, а в действительности был вечер, и не очень поздний, часов семь-восемь. Но все уже спало, только кое-где мелькали слабые огоньки, еще более усиливающие глухоту и запустение совершенно теперь неузнаваемой местности.

7

В страхе бежала Сашенька через темные огороды, которым не было конца, и особенно страшно было не лицу ее, так как его можно было потрогать руками, а спине, совершенно незащищенной, продуваемой снежным ветром, и к спине не то чтобы нельзя было прикоснуться, но даже подумать нельзя было о том, что делается за спиной, где сразу за шубкой началась ночная бесконечная тьма. Вдруг мелькнуло справа что-то белое, то ли стена мазанки, то ли снежный сугроб, однако, довольно высокий, так что за ним можно было легко притаиться и взрослому сильному мужчине, Сашенька поняла это и побежала, огибая сугроб большим полукругом, вглядываясь во тьму, но ни одного знакомого силуэта не проступало ни впереди, ни с боков, а назад, где по всей вероятности осталась больница, от которой Сашенька знала дорогу, назад смотреть было страшно. Какие-то примерзшие кочки запрыгали у Сашеньки под ногами, стало светлей, но то луна не выкатилась из-за туч, а просто попала под более жидкое, растрепанное ветром, облако и светила сквозь него белым пятном. В свете этом увидела Сашенька неподалеку канаву, видно, недавно вырытую, уж после дневного снегопада, потому что глина вдоль бруствера была чистой, лишь слегка примерзшей. Сашенька решила обогнуть канаву, так как она была достаточной глубины, чтобы в ней мог притаиться человек, правда, не в полный рост, а присев на корточки. Однако, проснувшееся вместе со страхом любопытство заставило Сашеньку

не отшатнуться от канавы, а приблизиться к ней и глянуть внутрь. Странно, что бруствер был свежий, комки глины не успели даже примерзнуть друг к другу, точно их буквально накануне извлекли наружу. Дно канавы было покрыто изморозью и присыпано, как показалось, густым слоем снега. Снег был мягкий, чистый, слегка подсиненный, словно накрахмаленный, и на снегу лежала в полный рост молодая еврейка, дочь зубного врача, в легком сарафанчике, в котором видела ее Сашенька на фотографии. Это была девушка редкой красоты, и она, видно, знала, что красива, потому что кокетливо обнажала красивые руки, круглые плечи и чистую гибкую шею. Только разбитая кирпичом голова искусно прикрыта была лентами, вплетенными в волосы, да кожа у маленького ушка слегка была припудрена изморозью, как делала и Сашенька, чтоб скрыть оставшийся от операции шрам на затылке. Сколько так стояла Сашенька, наклонившись над канавой, не дыша, она не знает. Помнит только, что вскрикнула вдруг, словно внезапно пробудившись, отшатнулась и сразу темные шумящие тени понеслись мимо нее от земли, едва не задевая лицо.

— Мама! — закричала Сашенька. — Мапочка... — крик этот напомнил ей все недавнее, она глотнула холода, так что закололо лопатки, чтоб подбодрить себя, еще громче крикнула, — Софья Леонидовна... Миленькая...

И тут она поняла, что кричать надо было с самого начала, ибо голос ее менял местность, делал эту местность не такой пустынной, безмолвной и незнакомой. Залаяли сонно собаки возле выросших по сторонам мазанок. Луна выкатилась из туч, засветила теперь на полную силу, и кто-то вышел во двор неподалеку.

— Тебе чего? — спросил темнеющий силуэт, правда издали и с опаской, опасаясь видно грабителей.

— Как к больнице выйти? — сжимая челюсти и стараясь не стучать зубами, спросила Сашенька.

— А вон больница, — сказал силуэт, — перед тобой больница... Ты голову не дури...

И действительно, выкатившаяся луна осветила садящуюся

на больничный забор воронью стаю, которую сонной всполошила Сашенька, согнала с огорода. Больница была, оказывается, не сзади, а спереди, так что, сама того не зная, Сашенька правильно сориентировалась на местности.

Забыв поблагодарить, побежала Сашенька вдоль больничного забора и вскоре нашла проход, по которому выбралась на знакомую улицу. С колотящимся сердцем бежала Сашенька мимо знакомых развалин главпочтамта, мимо городского кинотеатра, где шел еще последний сеанс и виден был свет в будке киномеханика, мимо перчаточной фабрики, где тоже не кончилась еще смена и горело электричество.

"У меня опять началась болезнь, — думала Сашенька, — я слишком рано вышла на улицу, переохладила тело и истощила нервную систему... Милая Софья Леонидовна, милая мама Софья, как я хотела бы поскорее вас видеть... Простите меня... Я буду любить вас сильнее, чем родная дочь... Успокойте меня, мне страшно, мне трудно жить, я совсем одна... Будьте мне матерью... Я простужена, у меня температура и мне кажутся разные картины... Помогите мне... Не та мать, что рождает, а та, что воспитывает... Милая мама Софья... К школе я неспособная, зачем же мне впустую губить молодость... Выздоровею и пойду работать на перчаточную фабрику, куплю себе туфли, маркизетовое платье... Может, шубку... А то, что на мне надето, все отдам... Не надо мне от бывшей моей матери-воровки ничего..."

Так мечтая, но не громко, а шепотом, чтоб не слышали попадавшиеся навстречу прохожие, Сашенька достигла конца улицы, где за поворотом был уже дом ответработников. Сашенька долго звонила и только испуганно подумала, не ушла ли Майя с Софьей Леонидовной в кино, а Платон Гаврилович в партийный кабинет, как дверь внезапно открылась, хоть шагов в передней не слышно было, и у Сашеньки испуганно екнуло сердце, потому что она поняла: к двери давно уже подошли на цыпочках и, глядя в дверной глазок, думали, открывать ли. Мигом подавленная этим, никогда ранее не случавшимся обстоятельством, вошла Сашенька в темную перед-

нюю, и тень в халате отступила в сторону, не проявляя никакой радости. Это была Софья Леонидовна.

— Входи, — сказала тихо Софья Леонидовна.

Она пригласила Сашеньку в кабинет Платона Гавриловича, где вдоль стен стояли шкафы с красными корешками классиков марксизма, она предложила Сашеньке сесть в кресло, словно посетителю, которого не жалко: схвачена ли ознобом его спина, сухо ли в горле у него, бледно ли лицо его — все равно не здесь забегают, всполошатся, не здесь уложат в постель и напоят питательным бульоном; здесь, может быть, только выслушают и посочувствуют из вежливости или даже искренне, если хорошо относятся.

— Я всегда относилась к тебе, как к родной дочери, не так ли? — сказала Софья Леонидовна.

— Да, — покорно согласилась Сашенька.

— Я уступала тебе свою постель, а когда ты болела, я вставала к тебе ночью по три раза... И поила бульоном из рук... И давала лучшие куски... Лучше, чем Майе, хоть она болезненная девочка и нуждается в усиленном питании.

— Да, — опять покорно согласилась Сашенька.

— Но ты говоришь, что у нас какие-то расчеты, — продолжала Софья Леонидовна, — мы хотим тебя использовать... Ты очень обидела Майю, и меня, и Платона Гавриловича... Ты не думай, я и раньше замечала, как ты относишься ко мне... Тебе не нравится моя внешность и не нравится Майина внешность... Ты уже взрослый человек, и я говорю с тобой как со взрослой... Майя ласковая и доверчивая девочка, у нее хороший характер, она душу свою могла бы отдать подруге... или близкому человеку. Она преданная девочка... А ты неблагодарная... Да, можешь на меня обидеться...

Сашенька вначале слушала Софью Леонидовну, после же рассеялась. Знобить стало меньше, может быть, оттого, что некому было Сашеньку пожалеть и никто б не всполошился, даже если б она в гриппозном состоянии съела б сейчас снега, чтоб увлажнить сухую гортань. И Сашенька поняла, что Софья Леонидовна никогда не была ей близким человеком, потому

что оберегала себя и не позволяла, чтоб Сашенька делала ей больно. Все обиды и насмешки, которыми даже не явно, а тайно Сашенька тешила свое сердце, Софья Леонидовна собирала и подшивала, будто бумажки, испытывая не страдания, а справедливый гнев, она не простила Сашеньке ни одного косога взгляда, ни одной несправедливости, которыми Сашенька платила ей за заботу и усиленное питание.

Сашенька встала и пошла в переднюю. Она слышала, как вздохнул на кухне Платон Гаврилович и заплакала в столовой Майя. Но не о них думала сейчас Сашенька. Она думала сейчас, как выселить Васю и Ольгу или, в крайнем случае, переселить их в кухню за ширму, чтоб начать жить самостоятельной взрослой жизнью, так как несколько минут назад кончилось Сашенькино детство. Оно кончилось в тот момент, когда Сашенька поняла, что некому больше обращать внимание на ее тоску, а без постороннего внимания и волнения тоска эта была вялой, скучной и не приносила сладости, ибо один из признаков детства — это возможность кого-нибудь мучить и волновать. Иногда оно отсутствует даже в младенчестве, иногда же растягивается до старости, в течение жизни оно может исчезать и возвращаться, детство — это возможность наслаждаться своей беспомощностью...

В квартире опять было сильно натоплено, впрочем, может, повлияла поднявшаяся к вечеру от незалеченной простуды температура, которую Сашенька ощущала во взмокших висках, в горячих ушах и ознобе вдоль спины. Сашеньке было так жарко, что даже шубка взмокла, и мокрая беличья шерсть неприятно гладила шею. Ольга хлопотала по хозяйству, носилась из кухни в комнату. На кухне у нее кипело какое-то варево для Васиной груди из трав, чеснока и еще некой примеси, очень напоминающей мочу, так что у Сашеньки от удушливого запаха даже закружилась голова.

— Это мне певчая совет дала... Верить можно... Для Васи... — принялась убеждать Ольга Сашеньку, точно Сашеньку волновал правдивый совет певчей и ее, так же как и Ольгу, беспокоило Васино здоровье, — у певчей сын болел, — обстоятельно рассказывала Ольга, не замечая, как у Сашеньки кружится

голова и хочется выпить холодного киселя из фруктового концентрата, который мать иногда приносила в сапоге.

— Били его сильно, — зевая и помешивая варево серебряной ложкой из набора, который Сашенькина мать хранила еще со свадьбы, неторопливо говорила Ольга, — били певчего-то сына. Ногами, видать, хоть не рассказывал он... Почки ему от спины отбили, желудок от кишок оторвался... — Ольга зачерпнула ложкой мутно-желтое варево, попробовала, поставив ложку ко рту самым концом, чтоб не сжечь губы, — а пища-то, она идет, питание... В желудок не попадает, а возле сердца скопляется... Вот он и кашлял, и тяжело ему, и колело его сердце-то, — монотонно, словно муха, жужжала Ольга, убаюкивая Сашеньку и вгоняя ее в ленивую духоту, так что Сашенька не имела сил поднять сейчас вопрос о выселении, а лишь стояла, поддакивая и слушая зачем-то Ольгину болтовню.

— А певчая-то говорит, — продолжала Ольга, — есть у меня средство, в старину им пользовались, сына мне это средство полностью вылечило... Только народ теперь гордый, не каждый согласится... А я говорю, мне лишь бы Вася здоров был...

Ольга взяла тряпкой за ушки кастрюлю с кипящим варевом и, распространяя солоноватый терпкий запах, понесла в комнату. Сашенька вошла следом. Бывшая материнская постель застлана была свежими льняными простынями, которые Сашенькина мать ни разу не употребляла с тех пор, как Сашенькин отец ушел на фронт. Вася сидел на кровати по-татарски, подогнув под себя ноги в белом свежевystиранном отцовском белье, которое все время аккуратной стопкой лежало в той части шкафа, где были все другие отцовские вещи и куда мать не разрешала Сашеньке соваться. Васины глаза лихорадочно блестели и приступ кашля, видно, недавно кончился, потому что грудь, видневшаяся в разрезе рубахи, дышала неровно, а губы были мокрые, и Вася вытирал их ладонью, прикладывая затем к ладони край простыни. Увидав Сашеньку, он улыбнулся ей, обнажив десны, и кивнул на кастрюлю.

— Вот он, мой самогон сахарный, — сказал Вася, — дай тебе Бог, Саша, никогда таким самогоном не опохмеляться.

— Ничего, — сказала Ольга, — ты, Васечка, выпей, это верное средство... Здоровый будешь...

Она налила варево в фарфоровую голубую кружку из Сашенькиного раннего детства. Вася выпил, морщась, вытер губы, перекрестился и снова улыбнулся.

— Ничего, — сказал он. — Хмельной самогон...

Ольга вынула из буфета целую буханку хлеба — и не магазинного, кирпичиком, с тяжелой мокрой мякотью, а круглого домашнего, который можно было достать лишь на рынке, с хрустящей корочкой и пружинистым сероватым телом. Вася проделал пальцами сверху в поблескивающей корке дырку, образовалась в мякоти ямка, и Ольга налила туда постного масла и посыпала солью...

— Любит он так, — сказала Ольга, — постное масло хлеб пропитывает...

— Простудилась я, — сказала Сашенька и сняла шубку.

— А ты ложись, — сказала Ольга, — кипяточку выпей с булочкой.

Сашенька поставила в маленькой комнатухе у зеркального шкафа раскладушку и принялась раздеваться. Движения ее были плавные и долгие, легкими руками снимала она с себя одежду, и ей было безразлично, куда после этого одежда исчезает; она не повесила на плечики маркизетовую блузку, а единственную нарядную юбку попросту уронила. Вошла Ольга, дала ей чашку кипятку с леденцом и черствый кусок церковной булки.

— Спасибо, — сказала Сашенька, ибо даже больной она не имела теперь права на заботу о себе и должна была за все благодарить. Булка пахла лампадным маслом, Сашенька решила намочить ее в кипятке, чтоб убить этот запах и чтоб легче было глотать, но намочила неудачно, почти весь кипяток вылился на пол. Ольга ушла на кухню, вернулась с тряпкой и вытерла насухо лужу, а с одеяла смахнула ладонью крошки.

— Спасибо, — сказала Сашенька.

Она долго лежала потом тихо и одиноко. Она слышала, как Ольга задула коптилку, как Вася начал ласкать Ольгу, но все было ей теперь недоступно, и суставы ее не напряглись, и дыхание не стало учащенным, и горечь ее теперь была не живая, которая порождает злобу и жалость к себе, а наоборот, своя судьба была сейчас безразлична Сашеньке, потому что Сашеньку никто не жалел и не любил.

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

Автор известной книги "Заложники", переведенной на английский, французский, иврит и другие языки, опубликовал новую книгу **"ПОЛЯРНАЯ ТРАГЕДИЯ"**.

Это книга о глубинной России, которую, за редким исключением, не знает никто. В конце 60-х и в 1970 годах автор побывал в Воркуте, Ухте, Норильске и других местах бывших сталинских лагерей. Об этом и рассказывает книга Г. Свирского "Полярная трагедия". Она вызвала единодушное одобрение русской прессы на Западе, отметившей талант автора, сочный народный язык повествования.

Книга состоит из повести **"ЗАДНЯЯ ЗЕМЛЯ"** и семи рассказов. По-русски опубликована издательством "Посев".

Цена — 24 нем. марки.

Скидка для Израиля — 1/3.

Игорь БУРИХИН

ЭДЕМ И ГОМОРРА

ПРЕВРАЩЕНИЕ НА ВОЗДУШНЫХ ПУТЯХ

1

Над холмом твоего лба
громоздит гужевое небо
первозданные облака.
Ощущенье любви нелепо

выпадает за окном
в островерхих его оправах.
И веснушки твои огнем
пробегают на горных травах.

2

Темный луч от тучи уходит в небо.
Быстрее темнеет, зажегся месяц.
Молотят цепом в пруду лягушки.
В четыре цапли застыла лошадь.
Буйволы движутся тише теней.
Пусто белеет внизу дорога.
Ангелом гаснет вдали зарница.

Тяжелее взмахи окрестных гор.
Ты лежишь на локтях и подняв колени.
И в промежности у тебя д о м .

3

Моя ладья в песке.
Море у тебя под щекой
лижет песок и почти касается губ.
Цветок возьми!

Бедра извиваются в горячем песке.
В глазах томная сырость.
Облако образует твое крыло.
И над прогнутым, как взгляд в себя, животом
чья-то шляпа.

4

Вынырнуть с полной луной в небе.
Сесть на верхушке кипариса химерой.
И слететь в его готической тени,
обнимая тяжелыми крыльями влажный воздух
теплый прохладный, больно как тело,
в твой разорванный сон обратно.

5

Вязнет песок и темнеют ели.
В облаке душно, как спать в постели
перед грозой. Запах тьмы и тлена.
Тело не хочет другого тела.
Возглас уроды во сне красавиц:
Я не хочу, чтоб меня касались.
Лучше уж крики, рыдания, роды.
Вон из себя, изо всей природы.
Вон из себя, как бежать из дома!

Благословенны раскаты грома.

6

По всей округе барабанит дождь
и выбивает из земли окурки.
Меня знобит, меня бросает в дрожь
и нетерпенье от любви и скуки.

Я вспоминаю, как лицо, лобок
в твоём доме. И ничего другого
я не могу. И в этом — видит Бог,
что создал Еву — ничего дурного.

7

Надо мной полнота неба.
Подо мной маета моря.
Это тело пещера недра
уходящего в них мола.

Море ласкает мол,
не выпуская из
губ говорящих: мой, —
ни в берега, ни вниз.

Море лелеет мол,
держит его в себе.
ГОСПОДИ БОЖЕ мой
так же и я в тебе!

8

Ветер, когда ломится в дом,
целует каждую щель.
Эта любовь содом.
Эта любовь качель.
Это погибель глаз.
Это часы пик.
Ветер вошел в оргазм,
выбросил дождь, и спит.

9

Луна выглядывает из-под
мохнатой брови на скрип качели.
Во всем, что движется, преобладает испуг
над ощущеньем любви и цели.

Неделю беременеет луна.
Неделю втягивает в себя живот.
Висит, ужасная, вместо сна
как выброшенный над морем плод.

Камень отбрасывает тень
и остается преступно голым.
Слышен скрип. Пожиратель своих детей
торжествует над Иеговой.

Море отступает от берегов.
На песке следы материнства.
На востоке от щек отливает кровь.
В неподвижности сила Сфинкса.

ТАКАЯ ЦЕРКОВЬ

Легка как лань ибо пуглива больше
чем лань
моя возлюбленная

к морю скачут холмы
в которых покоится ее тело

влюбленным взглядом можно прилеплять
крылатый и богатый тенью куст
увитой облаками головы
к поднявшейся над морем
голой скале —
и груди

нет, их нельзя
они же маленькие

маленькие бодливые луны
теплые как синие голуби
на краю неба под полным солнцем
в пламени торчащих сосцов

**О В НОГАХ У ТЕБЯ РЫБА
НА ВЫСОКИХ БЕДРАХ ВЕСЫ
И УЖАСНАЯ ДЕВА
В ТВОЕМ РОЖДЕНЬИ!**

Ноги твои образуют высокий вход
в узкое продолговатое тело
живота
в котором все любимо наощупь

я хочу в тебя еще глубже
я хочу поцеловать тебя в сердце
я хочу увидеть какая
чуткая рука твоя шея
как растет изнутри наружу
подымая мне навстречу светильник
твоего лица из темницы
будто звездное небо тела
в поле трав и родимых пятен

как она проводит по вспухшей
ислодземной гвоздике рта
как скользит по линии носа
прикрывая провалы глаз
ты устала, устала птица
и со лба переходит в небо
оставляя земле земное
и в дыхании твоём близость рая!



Илья БОКШТЕЙН

УЛЫБКОЙ ЗАЧЕРКНУЛСЯ

ДИСПУТ

Рука твоя, как ветка от сонного дождя
 И ты такая редкая, как поезд уходя
 Но ты пришла однажды, я осторожным был
 Шепнул глазами: "жажду!", пустой дневник раскрыл
 Ты лестно улыбнулась: ну, как твои дела?
 Я сочинила песню, на суд твой принесла.
 Не клянись, мой друг. И любовь проходит.
 Вон, девичий круг, в поле хороводит.
 Забудешь ты меня, только позабавишься
 Проползет змея, ты другой понравишься.
 Нет, не позабуду, выпадет снежок,
 Согревать я буду щек твоих пушок.
 Пусть пройдут года, долгие, как ночи,
 Верись, никогда не влюблюсь я в прочих.

Ну как, не режет душу? — Про уши позабыл
 В ответ тебе, послушай, две строчки накопил.
 Рука твоя, как ветка от сонного дождя
 И ты на редкость хрупкая, как юность уходя.

Молчи! Я знаю, что ты скажешь мне в ответ
 Точнее молчанье, чем "нет".
 Слова в хитринках глаз твоих тепла не затаят
 Надежду в тоску обратят.
 Не жду, зачем ты не уходишь, не томи!
 Мечту вместо счастья возьми.

Если любишь, не веришь, что может быть плохо
 И не помнишь потери и не видишь подвоха
 А улыбка твоя элегантно светла
 Будто небо и землю и мрак рассекла.

* * *

Легковерность во мне не крути
 Будь помягче, хитри полегоньку,
 А с досады обижу — стерпи,
 Помнишь, долго терпела Леньку.

Выпив чудное мгновенье Пушкин вылил из вина:
 Ты глупа как озаренье и как истина бледна.
 "Совершенна" и "скучна" — Керн исправила смущенно,
 Разойдемся, разобщенность видно свыше нам дана.

Любимая и Бог — два полюса любви
 Обожествление себя и отрицанье,
 Но красота твоя уводит от познания
 Я становлюсь, как женщина на вид.

А еще я скажу тебе "нет"
 И добавлю "инаф" или "хватит".
 А потом покажу твой портрет

И повешу на грудь, вместо платья
 Ты подумаешь: что за беда?
 Вдруг смущенно портрет отодвинешь
 Скажешь: я не нужна тебе, да?
 По щеке умилительно двинешь,
 Я отвечу: ничуть не нужна
 Ты прекрасна и так, без насилья.
 Пошутил я, и, встав у окна,
 На стекле рисовал... стыд и крылья.

Чтоб в мольбе не потерять лица,
 Удивлению доверившись, улыбкой зачеркнулся
 Я проснулся, будто мир перевернулся
 Я это знал давно, проверил в самом деле
 И как будто бы в кино, зевнул и отвернулся,
 Какое грандиозное начало нелепого конца!

Ты прочла недописанный лист
 Я дневник оборвал многоточьем
 За окном фонари разошлись
 Пустыри озарив стаей волчьей
 И слова словно маски страшат
 Воскресения память не жаждет
 Не была бы ты так хороша
 За тебя я родился бы дважды.

Когда я вас люблю, я становлюсь моложе
 И на себя сам не похожий
 Я телом похожу на вас, душой — на ваш иконостас!

РЕВНОСТЬ

Я понимаю: ты от меня отвернулась
 Для всех нас к лучшему.
 Но когда я вижу вас обоих счастливыми
 Мое чувство обиды и унижения так велико,
 Что понимание его равно самоубийству.

Внезапная взаимность так ничтожна,
 Когда с потерей примирился до конца.
 Лишь память о тебе храню так осторожно,
 Как осторожную улыбку из прихожей
 Выносит грустный взгляд прекрасного лица.

ЭЛЕГИЯ

Кто тоску мою поверит иль поймет
 Чья печаль стучится в мою дверь
 Может, пес ко мне заблудший забредет
 Одиночество мое согреть
 Тлеет головешкою тоска
 Стукнула стакан бессвечный — тьму
 Замяукала продрогшая река
 Нищенка там пролила суму.

Если от любви моложе наши годы,
 Как томительно нам ждать гостей ухода,
 А когда любовь оделась в сведенья привычки,
 Заученная книжка надоела
 Опять нас стали навещать,
 Как юность милые соседи.

ВДОХНОВЕНЬЕ

Дверь качнулась, я вышел, в чем дело?
 Кто меня потревожил? - Ни зги!
 Непроглядная даль чуть шумела,
 Как в шагах отголоски реки.
 Вижу: время в полете застыло,
 Как на фреске летящий Христос.
 И вознесся крестом из могилы
 Всех вопросов — о Боге вопрос.
 Я очнулся: о чем наваждение было,
 Почему, в отраженьях себя узнаю?
 Почему, ты так поздно открылась
 Дверь в бессмертную душу мою.

...нам сочувствие дается,
как нам дается благодать.
Ф. Тютчев

С. МАСЛОВ

СО-ЧУВСТВИЕ

Диалоги Православного и Либерала

ОТ АВТОРА

У нас много общего. Мы живем, думаем, любим своих друзей и своих сограждан, родную землю, русскую культуру... Мы вместе противостоим, как умеем, одной и той же силе — мертвящей, оглуляющей, жестокой. Однако...

Чрезвычайно болезненным переживанием последнего времени было для меня ощущение растущей стены непонимания и отчуждения между двумя направлениями современной свободной мысли — между наследниками славянофилов и наследниками западников. Стенка еще тонка, мы еще слушаем, хотя часто — не слышим друг друга. Может быть, совместными усилиями мы сумеем ее разобрать. Если же не сумеем — Боже, спаси Россию. Один раз наша страна уже пережила процесс поляризации идеологических сил; доколе можно множить ошибки, нетерпимость, ненависть. Догматизм мышления и нетерпимость к инакомыслию — застарелая болезнь нашей родины. А лекарство одно — научимся понимать друг друга, научимся вести диалог.

Отчетливее всего наш конфликт проявился в спорах, связанных со сборником "Из-под глыб". Во многом блестящий и возбуждающий мысль, сборник содержит также и много огорчительного. То, что хотелось бы написать мне — вовсе не рецензия на сборник, не очередная критическая статья. Напротив, мне хотелось бы не столько обозначить подстерегающие ямы, сколько — найти общий язык и сформулировать

либеральную позицию так, чтобы, не утратив своей мировоззренческой цельности, она бы оказалась по возможности близкой к позиции авторов сборника.

Надо ли говорить, что имена участников диалога сугубо условны? Что, хотя я и буду вести голос Либерала, ни я сам, ни другие, близкие мне по мировоззрению и общественной позиции люди, не склонны присоединиться к нему во всем и полностью?

Со своей стороны, голос Православного будет во многом состоять из буквальных цитат (цифры в скобках — страницы по изданию "Из-под глыб", ИМКА-ПРЕСС, 1974). При этом, разумеется, ответственность за использование контекста, за связующие реплики и прочие вольности автор берет на себя.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Постепенно, но все в большей степени, нравственный и интеллектуальный багаж нашего общества начинает развиваться в рамках древней традиции, в терминах, о с в я щ е н н ы х тысячелетней историей духовного подъема человечества. Духовный подъем — это всегда синтез творческих усилий современников и предков. Поэтому радостно видеть, как приоткрываются кладези Библии и Вед, средневекового искусства и мистического опыта, древнекитайской философии и русской религиозной мысли.

Но как велик соблазн — выбрать в веках Кумира. Выбрав кумира, мы совершим измену в отношении прошедших поколений, миллионов творцов, сказавших свое слово. Выбрав кумира, мы станем говорить на разных языках и никогда не достроим башню человеческой культуры. Мы просто перессоримся. Выбрав кумира, наконец, мы нарушим заповедь, забудем, что Бог шире любой его формализации. Даже если эта формализация называется Священным Писанием.

Наши предки многое сделали для решения задачи, которая, может, еще никогда не была столь насыщенной и безотлагатель-

ной, сколь сегодня. Теперь нам и нашим потомкам предстоит синтезировать Нагорную проповедь и ярость Книги Иисуса Навина, пронзительные прозрения Ницше и тяжеловесные построения "Капитала", смущающие открытия Фрейда и смертельно опасные достижения эпохи "думающих машин".

Никакие проклятия и заклинания не снимут с нас этой ЗАДАЧИ.

Синтез — это не релятивизм ("каждый из нас прав со своей стороны") и не скептицизм ("все вы поняли так мало, что и говорить не о чем"). Синтез — это не эклектика. Нет, это захватывающая и неподъемная творческая работа.

"Бог есть" и "Бога нет" — две величайшие истины, придуманные человечеством", — говорил Нильс Бор. Так трудна задача синтеза.

Мое переживание Бога: То, что стоит за всем лучшим. От моисеевых заповедей до богаделен и лепрозориев. От солнечных лучей до "Гамлета". От теоремы Пифагора до пишущей машинки.

Такое определение Бога полностью согласуется с безрелигиозным гуманизмом и четырежды охаянной теорией прогресса. Но, если доброжелательно вдуматься, это же мироощущение лежит в основе достаточно ортодоксальных конструкций в духе Вл. Соловьева.

Бог шире любой формализации. Моему переживанию недостает ощущения личной связи, благодати смирения, многого недостает... Но в этом переживании присутствует, хотелось бы мне верить, благодать любви — к Духу, жизни, человеку... Человек с большой буквы — это не аморфная абстракция, составленная из громких слов и мелких помыслов. Человек — образ Бога.

Итак, живое ощущение высшего смысла нашей жизни и бесконечной ценности человеческой личности, по-моему, не разделяет участников нашего диалога.

Думаю, наши герои могли бы договориться и по поводу терпимости к людям и идеям. Для Либерала терпимость — один из основных принципов. Что же для Православного? Ра-

зве нельзя сказать, что разнообразие — то, которое мы ежечасно наблюдаем, — угодно Господу?

С ортодоксальной точки зрения, один из атрибутов Бога — Вездесущий. В каждом человеке есть Бог. Но, может быть, — и в каждой человеческой идее? Может, каждая идея вливается в мировую гармонию, и надо только вслушаться... Разве нет? Все это спорно, спорно. Но одно я знаю наверняка — слишком часто забывают имя "Вездесущий" адепты различных религий. Слишком часто заседают суды инквизиций, человечество слишком делят на правоверных и нечестивцев. Горят книжные костры, горят инакомыслящие...

Наконец, у всех нас, живущих и думающих, есть общий метод. Этот метод — со-чувствие. В сфере жизни — это сострадание. Основа любви, милосердия, жертвенности, основа всего самого нежного и нужного в человеческих отношениях. И Библия, и прекрасное дитя греко-христианской цивилизации — европейское искусство развили в нас дар сопереживания, бесконечно раздвинули рамки нашего духовного опыта. Может быть, мы созрели для сочувствия и в сфере мысли, в сфере, в которой мы не учились сопереживать.

При сочувственном и доброжелательном отношении к концепции несколько фактических ошибок не будут заставить нам целое. Тривиальность мысли не заслонит нам тот трудный путь, которым, возможно, должен был пройти человек. Резкость суждения не отшатнет нас, если мы сможем повторить мыслью ход от детского воспоминания (будь это детство "кулацкого" сына или еврейского мальчика). Даже ошибочность результата не мешает нам восстановить правильный участок в цепочке чувств и мыслей, на одном конце которой любовь к природе, а на другом — необходимость уничтожения городов. Или в цепочке от любви к поэзии до утверждения: "чтобы быть нравственным, достаточно уметь читать стихи".

Я буду стараться сочувствовать. Я прошу сочувствия.

ДИАЛОГ О НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ

П: Надежда и вера борются с отчаянием или глухим злорадством. Кто мы — проклятое и развратное племя или великий народ? Суждено нам будущее или Россия явилась в мир лишь за тем, чтобы, по безумному пророчеству Леонтьева, родить из своих недр антихриста? Что ждет нас — разверстая бездна или крутой и трудный подъем? Возникает сомнение, которое жутко и выговорить: ЖИВА ЛИ ЕЩЕ РОССИЯ? (199,261)

Л: Мне кажется, эти вопросы продиктованы как раз не верой, а отчаянием. Возможно, Вы правы, и наш народ, нашу страну может спасти лишь чудо. Мне нехватает аргументов, но ощущения мои более оптимистичны. Растут алкоголизм, равнодушие, эгоизм. Но растет и умение выражать свои мысли, чувство достоинства, умение отделить себя (хотя бы — в сознании) от режима и коллектива. Большинство наших сограждан не считает свою жизнь "слишком невыносимой"*.

Но я хотел бы понять Вашу мысль о миссии России. Договоримся о понятии нации.

П: Нация — есть один из уровней в иерархии христианского космоса. Не историей народа создаются нации, но нация-личность реализует себя в истории народа. Переживание нации как личности непереводимо до конца на язык рациональных понятий и потому остается совершенно чуждым рационализму и позитивизму. (211, 119, 206)

Л: Я не рационалист и не позитивист, хотя близок к ним. Я готов говорить о нациях как о вполне реальных и живых образованиях, со своим лицом, с возможностью ставить перед собой задачи, с самосознанием и памятью. Я согласен применять в оценке наций и их истории этические термины, согласен говорить, что нации могут грешить, раскаиваться, воскресать. Только две оговорки.

Нация не отличается качественно от многих других общностей, принадлежность к которым может доставить чувство

* Либерал намекает на фразу: "миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь". (26)

счастья, полноты бытия, гордость. А может, и наоборот, вызывать ощущение навязанности, ненависть.

П: Нация — часть неотменимого Божьего замысла в мире (211).

Л: Мне кажется, я понимаю Вас и, в некотором смысле, согласен. Но сейчас я хочу сделать вторую, более важную оговорку — про антипатии.

П: У подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-то кружку людей и внутри его высказываются, иногда это чувство захлестывает целые нации и прорывается трубно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, но они существуют, и даже очень категорические. Это известно всем. И лицемерие — в запрете об этом говорить. (120)

Л: О существовании националистических чувств у других говорят очень широко. Похоже, Вы хотите сказать, что лицемерие — скрывать эти чувства в себе. Преодоление своих национальных антипатий или, по крайности, поведение, при котором они не могут проявиться. Разве это — лицемерие? По мне, так — нравственный долг. А уж превращение этих антипатий в идеологию, избави Бог!

К сожалению, позиция "нация — личность" очень легко может послужить основой ксенофобии: бывают плохие люди; значит, бывают плохие нации; значит, к представителю плохой нации я могу относиться, как к плохому человеку. Каждый раз, когда мы вместо человека видим представителя какой-то общности — мы делаем шаг к фашизму.

Ощущение избранничества слишком тесно связано с ощущением превосходства; помноженное на военную мощь самодержавного государства оно повреждает душу народа и приносит неисчислимые беды его соседям. Основа здорового национального самосознания — чувство о с о б о с т и , становится основой шовинизма как раз тогда, когда перерастает в чувство: "моя вера лучшая, мой путь лучший, следуй за мной!"

П: До сих пор русское национальное самосознание живет

под неусыпным враждебным присмотром. Группа анонимных авторов напечатала несколько статей в № 97 "Вестника Русского Христианского Студенческого Движения". Среди всех прегрешений России, какой же самый страшный грех усмотрели авторы? Оказывается, это вера в то, что Россия обладает исторической миссией, что и она несет миру свое, новое слово, или, как говорят авторы, — "русский мессианизм". В этом-то грехе они требуют у русских покаяния, указывая на это даже как на основную цель России. Ставить целью так изменить сознание народа, чтобы он не смел думать, что его жизнь имеет цель! К какому другому народу обращались с подобными поручениями?

В статьях с дутым академизмом прослеживается "история" злосчастного мессианизма, который в революцию прикинулся "пролетарским". С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся история — и это под соблазнительным видом раскаяния! Удары будто направлены все по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом добивает еле живое русское национальное самосознание. (105,133)

Л: С сожалением отмечаю неправильность Ваших полемических приемов. Вы искажаете позицию авторов из № 97, подставив вместо м е с с и а н и з м а скромненькую "историческую миссию". Вы спорите с малоизвестными авторами, умалчивая, что сближение мессианизма с большевизмом, слова о религиозных корнях "пролетарского мессианизма" принадлежат крупнейшим христианским мыслителям, например, Бердяеву.

И главное. Вы не говорите четко, как именно Вы относитесь к утверждению — "ВЕСЬ МИР ДОЛЖЕН ПРИЙТИ К ПРАВОСЛАВИЮ". Можете ли Вы от этого тезиса отказаться? Или — как-нибудь его ограничить? Или — хоть объяснить, что может сделать Православие для преодоления раскола Церквей, раскола Церкви и мира, для включения в себя миллионов, воспитанных другими культурами, верящих сегодня в другие идеалы?

Вы говорите, что Россия мертва, если она не осознает свою миссию в мире. А слышится за этим, несомненно, слышится:

Россия мертва, если откажется от мессианства. Такое "национальное сознание", действительно, не может не насторожить католика и магометанина, космополита и националиста, эстонца и китайца.

П: Конечно. Классовая ненависть, вероятно, не сможет больше стать той спичкой, которая подожжет наш дом. Но национальная — вполне может. (113)

Л: А Вы нередко проявляете неосторожность!

П: Что Вы имеете в виду? Что мы все — отвечаем за все? Так ведь тысячелетиями известно выражение: ЗА ГРЕХИ ОТЦОВ. (141,122)

Л: Действительно, многие близкие мне по мировоззрению люди считают глубоко неверной такую постановку вопроса. Но я уже признал ее правомерность, согласившись, несмотря на все опасности, рассматривать нацию как личность. И я не вижу ничего неправильного, например, в том, что нация идет на жертвы ради исправления обид, нанесенных предками. Как я был бы рад, если бы удалось решить вопрос о крымских татарах — пусть путем невыгодных экономических решений, пусть путем отказа от Крыма (как от "всесоюзной здравницы" или — вообще). Вы знаете, меня просто потрясли и возмутили слова..., догадываетесь, какие?

П: Татарское иго н а в с е г д а ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. (141)

Л: Да, именно эти. Хорошо, когда к раскаянию призывают люди, простите, я скажу грубо — способные к раскаянию, способные извиниться, не обставляя своих извинений всяческими экивоками и встречными обвинениями. Сколько бед, например, причинили мы Польше...

П: Но зато — как едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества. (138)

Л: Во время подавления Польских восстаний русское общество было настроено антипольски. Все мы помним —

"Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях иль верный росс?"

Мы знаем, что "Колокол", решившийся поддержать Польшу,

был отвергнут "русским образованным обществом" и не смог оправиться от этого удара.

(Диалог окончательно теряет свою нацеленность на сочувствие. Одна за другой следуют реплики: латышскими штыками и мажарскими пистолетами... русский колонизатор... в карательных отрядах и говорить-то по-русски не умели... а каково жилось "инородцам" при "здоровой авторитарной системе"?, в революции были черты иностранного нашествия... а кто пел про 14 держав?, общеимперское единство... Преувеличения и раздраженность обоих участников показывают, что подсчет — кто больше пострадал и кто больше виноват — чрезвычайно неплодотворная почва для диалога. Для его завершения автору приходится совершить насилие над оппонентами и вернуть их к объединяющему.)

П: Пройдя жгучую полосу раскаяния внутреннего — что мы тут, внутри страны, наделали сами над собой, — нам придется решимость в себе найти еще и на следующие шаги: на признание грехов внешних, перед другими народами.

Л: Я согласен. Только почему не одновременно? Не с опережением? Если я обижал соседей и причинил вред самому себе, то каково должно быть мое первое душевное движение?

ДИАЛОГ О ДУХОВНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЕДИНСТВАХ

Л: Чтобы снять остроту чувств, давайте попробуем обсудить национальный вопрос несколько абстрактней. Будем говорить о двух типах общностей. Подчинение первым выступает в сознании большинства членов как в той или иной степени насильственное. Подчинение вторым — добровольно и вызывает положительные эмоции. Условно назову первые — политическими, вторые — духовными. История демонстрирует, что для здорового развития общества наиболее благоприятны случаи, когда границы духовных единств лежат поверх политической карты (античная Греция, ренессансная Италия, католическая Европа). Противоположное соотношение неблагоприятно (в частности, в тяжелом положении находятся многонациональные империи).

П: Сам я считаю систему США глубоко порочной (78), но ведь с Вашей точки зрения это страна и здоровая, и многонациональная.

Л: Действительно, я склонен рассматривать американское общество как одно из наиболее здоровых. Но США как раз согласуется с моей моделью: добровольное духовное единство, мощный магнит, веками втягивающий в свое поле множество разнообразных национальных, религиозных и прочих субкультур. Именно такое единство является основой духовных и материальных сил этой великой страны. Болезни же и язвы ее являются следствием невозможности полной победы этого единства граждан над стремлением к замканию в расовые и другие общности.

Духовному подъему человечества способствуют общности, размыкающие границы. Наиболее здоровые общности сегодня должны, в принципе, быть способны включить любого человека (хотя реально могут быть вполне узкими — как "любители Ван-Гога" или даже "специалисты по лесным блошкам"). Религии всечеловечества, наряду с арелигиозным гуманизмом, являются, конечно, наиболее выразительными примерами высоких духовных общностей.

П: По твердому моему убеждению, одно только христианство и содержит в себе движущую энергию, постепенно одухотворяющую и преображающую наш мир. Что касается гуманизма, то практическим его итогом стал тоталитаризм нашего века*. (153)

Л: Источники силы и слабости, с любой точки зрения, — в глубине души. Сил этих — маловато. Но много ли могут помочь душе великолепные антологии и превосходные картины рая и ада?

П: На уровне "рассуждений", может, и вправду не так уж важно, опираться на веру в человека или на веру в Бога. Но Вы упускаете самое важное — опору для души дают не теологические конструкции, а первичная и неотменимая ника-

* Отличное и развернутое изложение этого тезиса можно прочитать в общедоступном в СССР издании — в повести Экзюпери "Военный летчик".

ким эмпирическим опытом реальность — переживание личной связи с Высшей силой.

Л: Возможно, Вы правы. Я могу попытаться заменить это Ваше переживание — переживанием мистической связи с человечеством (ведь мой "позитивизм" не боится мистики). Я могу напомнить про человека, который много дней лице-зрел живого Бога и трижды предал Его за одну ночь. Но такой спор уведет слишком далеко, и я готов Вам уступить.

П: Допустим. Ближе к теме будет другое соображение. Все бьющие в глаза преимущества якобы свободной разомкнутой структуры бесконечно уничтожают себя, истощают, и как будто воочию видишь уходящие дымом благие побуждения, возвращающие человека к компромиссам перед извечно стоящими Искушениями. Тогда как в Церкви все остается с нами — каждое душевное движение. (171)

Л: Да, действительно, трудность существования человека в разомкнутом мире совершенно реальна. Безграничное число возможностей приводят к псевдосвободе. Чем шире общность, тем труднее ощущать свою связь с нею. Абстракция "человечество" пока еще с трудом может выполнять свою духовно объединяющую функцию. В этом сила клановости.

Но дело ведь не в количестве членов общности, Церковь тоже объединяет сотни миллионов. Дело в силе и нацеленности эмоционального поля. Теологические абстракции при этом вряд ли полезней позитивистских. Горячая любовь к единоверцам, согражданам, людям создается, Вы правы, иррациональными средствами. Но все-таки, она может быть создана. Когда-нибудь такая любовь включит все живое во Вселенной...

А пока в качестве объединяющих структур вполне могут выступать именно мировые религии (хотя религиям и нелегко справиться с ненавистью к иноверцам). Лишь беспочвенная интеллигенция вечно склонна отрывать от национальных и религиозных единств. Как писал Г. Померанц: "Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои".

П: В таком интернационализме-космополитизме есть большая духовная высота и, вероятно, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Но век наш, вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций и их самосознания. (245)

Л: И все же попробуем признать духовные религиозные единства выше полуполитических национальных.

П: Что ж, попытаемся договориться, что народ — это духовная общность. В духе Вл. Соловьева было бы сказать: я не потому принимаю Православие, что оно русское, напротив, русское я принимаю постольку, поскольку оно православное.

Л: Такой поворот разговора меня радует.

П: Россия долгое время жила православием, известно. А главное содержание большевизма — неумный, воинствующий атеизм и классовая ненависть. Русский народ был доведен до почти полного исторического беспамьяства, лишен национальной культуры, едва не потерял своей поруганной и растоптанной Церкви. От наших бед больше всего и пострадали русские, украинцы и белорусы... Во всяком случае, они почти утратили душу, объединяющую их в народ. Эта утрата мстит за себя невиданным ростом алкоголизма, оцепенением и равнодушием, распадом семьи и падением рождаемости. Налицо угроза физического вымирания (уже сейчас — русских в стране меньше половины). Только через возврат к национальным корням, к Православию, возможно еще возрождение народа.

Л: Утрата традиции и религии очень скверная вещь. Но этим процессом затронут весь мир, процесс начался очень давно. Приход к власти большевиков лишь сделал очевидной застарелую болезнь православной Церкви (да и России в целом). Того, в ком религия жива, репрессии лишь укрепляют в вере.

П: В 1918 году русские крестьяне поднимались за Церковь на бунты. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры... (122)

Л: Я готов временно стать на Вашу точку зрения, признать Православие душой народа, а попытку его уничтожения — одной из фундаментальнейших причин сегодняшней серьезной деморализации общества.

П: Тогда Вам следует согласиться и с единственностью рецепта. Россия прошла через смерть и может услышать голос Бога. (276)

Л: Но я все равно не верю в возрождение через приход к Православию. В русском сознании оно слишком часто выступает как отъединяющая идеология. Католицизм, напротив, всегда пересекал границы. Церкви типа англиканской или армянской не воспринимали (или — почти не воспринимали) себя как носителей единственно правильной веры.

П: Мы не собирались спорить об истории.

Л: На сегодняшний день, если не говорить об интернациональной культуре и гуманизме, самыми размыкающими религиями кажутся мне католицизм и буддизм. Менее ясна роль ислама, протестантизма. Много надежд я возлагаю на экуменическое движение, диалог христианских Церквей, диалог христианства и иудаизма. Что же касается собственно иудаизма и православия, религий национального мессианизма, то им, пожалуй, трудно выполнять сейчас национальную функцию. Очень трудно — и это трагично для России (да, кажется, и для Израиля).

Что касается социально-практического аспекта, то, пока Церковь остается идеально встроенной в систему, даже массовый приход верующих не изменит положения. Какие основания ожидать от "усредненного" верующего большего нравственного здоровья, чем сегодня у крупнейших иерархов?

П: Как это можно массовый приход живых сил подменять словами "усредненный" верующий? И вообще, беды моей Церкви — мои беды. И неприятно слушать о них — из равнодушных уст.

Л: Но все же Вам надо знать мою позицию. Так вот, по всем упомянутым причинам я не ожидаю заметного оздоровления общества от распространения в нем православия (у нас

не Польша, в которой католицизм насчитывает много веков существования в качестве "второго центра"). Более того, в случае альянса правительства и "национальной идеи" (какой альянс, по существу, предлагается в "Письме вождям" и имеет некоторую вероятность реализации, например, через механизм военного переворота) я не ожидаю ничего, кроме кровавых неприятностей. Особенно в нашей стране, накопившей столько национальных антагонизмов. Я говорю это отнюдь не из недоверия к чистоте помыслов лучших националистов. Но история показывает, что при серьезных потрясениях идеалисты всех мастей уступают место иным силам. Национализм и гитлеризм...

П: Не ближе друг к другу, чем либерализм и сталинизм. Все мудрствования просветительства дали гильотину, а бескорыстие народовольчества — Лубянку и Колыму. (164)

Л: Вы преувеличиваете. Идеи революционного пред либерализма, действительно, разделяют некоторую ответственность за гильотину. Но реформистский либерализм XIX-XX веков...

П: Всегда потакал и потакает всяческим экстремистам и революционерам. Едва переступив порог Церкви, еще не преклонив колена перед святыней, мы дерзаем уже "окармливать" Церковь вздором интеллигентского морализма, забывая путь, пройденный русской интеллигенцией от "младенческого лепета" Белинского к наглости Писарева и — через вооруженное невежество большевиков — к ничтожеству сегодняшнего либерализма. (163)

(Автор констатирует очередной "занос" и пытается возратить диалог на конструктивные рельсы.)

П: Простите... Мы вообще говорили сейчас не о либерализме и даже не о национализме. О Православии.

Л: Хорошо. Допустим, что можно провести железные границы между шовинизмом и национализмом, а также между русским национализмом и Православием. И попробуем понять, готова ли православная Церковь вести свой народ.

**"от молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане"**

П: Какая дикая формулировка задачи для Церкви. Види-

мо, нам придется говорить о национальных корнях религии и культуры.

Каждый народ должен стремиться к осуществлению полноты своей личности, то есть должен стремиться стать Церковью. На пути человека к Богу неминуемо вступает свои права сознание национальной принадлежности, сознание метафизической включенности собственного "я" в соборное "Я" человечества. В гранях нации — не одно из лучших богатств человечества? И — надо ли это стереть? И — можно ли это стереть? (211, 212, 19)

Л: Ни в коем случае. Конечно, и религия, и культура могут расти только в материнском лоне нации.

Национальное и племенное начало — величайший источник жизни и культуры человечества, как подсознание и интуиция — источник личного творчества. Существует лишь национальная форма культуры в том же смысле, в каком всякое творчество — лично. С другой стороны, культура и Церковь всечеловечны в том же смысле, в каком личные мысли и переживания могут быть сделаны доступными окружающим. И подсознание и национальная традиция — всегда в человеке. И в его поведении, и в его творчестве. Поэтому я готов поддерживать любые Ваши усилия по сохранению национальной почвы культуры. Хотя, конечно, у нас может возникнуть уйма разногласий по поводу того, что органично для русской культуры; русская поэзия, наверное, составляет самый фундамент моей личности. Но тем яростней я готов бороться против отторжения от нашей культуры того, что ревнителям традиции может показаться неорганичным. Мне дороги и Чаадаев, и петербургская архитектура, и Мандельштам, и Маяковский, и право моего современника на творческое прочтение классики. И мне грустно видеть, что нелепые окрики "Правды" по поводу "Пиковой Дамы" звучат нота в ноту с антимодернистскими выпадами руситов. Великая культура жива до тех пор, пока органичной ее компонентой является культура всемирная! Вот и весь мой космополитизм. Только взаимопонимание, взаимообогащение, синтез могут спасти нас в

разделенном мире. Спасти, сохранив и приумножив все доставшееся нам от предков разнообразие. Можно обозвать стремление к такому синтезу скомпрометированным словом "интернационализм". И можно-таки говорить о Богочеловечестве. Дело ведь не в терминологии.

П: Хорошенькая разница!

Л: И все-таки не в ней дело. В начале нашей эры, взломав второстепенное (национальное!) ограничение Ветхого Завета, монотеизм вырвался на просторы Европы и в несколько столетий стал важнейшей мировой религией...

П: При чем тут национальное ограничение? Рождество Христово — вот что произошло "в начале нашей эры".

Л: Так-то оно так. Но для распространения христианства были необходимы и поразительные по смелости реформы "апостола языков" (чего стоит хотя бы отказ от "обрезания на теле"). Но тут нет, всерьез, предмета для спора. Я хотел сказать иное.

По одной из ересей — после договоров с Отцом и Сыном нас ждет договор с Духом Святым. Прошло две тысячи лет, и я кощунственно жду новой Благой Вести. Точнее, я жду такого всеобщего изменения сознания, при котором все "разумное, доброе, вечное", сказанное носителем любой религии и любой культуры, окажется духовно близким, подчеркиваю, — д у х о в н о б л и з к и м ! — носителям иных религий. И я вижу путь к этому великому синтезу, начало пути. Онтологические истоки этого пути — самоценность свободы и творчества. А естественное название для этого, лишь начинающего складываться миропонимания, — ЛИБЕРАЛИЗМ. Либерализм — не течение общественной мысли, зараженное политиканством и пустословием, а — способ жить и мыслить...

В свете моих "ожиданий" вынужден сказать, что историческое православие не представляется мне наиболее удобным исходным пунктом движения к Богочеловечеству.

П: Другими словами. Вы хотите сделать Вашу концепцию абсолютно неприемлемой для меня?

Л: Ни в коем случае. Человек, поднявшийся на горные вер-

шины Православия, настолько просветлен и близок к соборному человечеству, что дальнейшее возрастание его Духа ни на йоту не затруднено. В нескольких случаях мне посчастливилось наблюдать столь просветленное состояние. Но сейчас я думаю о великом множестве своих сограждан, которые, как и я сам, погружены в толщу безрелигиозных или полужыческих верований.

Вспомним схему о. Сергия Желудкова: Христос в центре круга, разбитого на сектора (православие, католицизм, буддизм, анонимное христианство и т.п.); каждый сектор сходится к центру, то есть буддист или атеист вполне могут оказаться ближе к Христу, чем некоторые христиане. Схема эта, в принципе, кажется мне верной. Но о. Сергей, разумеется, предполагал, что движение к центру максимально облегчено в секторе православия. Я не вижу, к сожалению, чтобы это подтверждалось историей.

П: За современной гуманистической фразеологией не сразу и распознаешь все того же черта с рогами и копытами, все того же Петеньку Верховенского, — все с тем же набором отмычек, наглостью и легкомысленным невежеством. (163)

Л: Вот видите. Не могу не процитировать опубликованную в сборнике "Из-под глыб" статью Барабанова: "слишком часто обращение в христианство, в православие, на самом деле означает смену идеологий. Но идеология, сколько бы она ни казалась безусловно верной, не способна освободить человека". (196)

П: Да, пожалуй. Свобода это и есть формула человека, и если он ее ищет в партиях и идеологиях, то он никогда ее и не найдет, какими бы хорошими они ни были. (154)

Л: Вот-вот. Потому-то я и не надеюсь на национальное возрождение через идеологию Православия. Не говоря уж — через партию националистов.

ДИАЛОГ О ЖИЗНИ НЕ ПО ЛЖИ И ОСНОВАНИЯХ НАДЕЖДЫ

П: Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения — в таких условиях человек еще может жить без вреда для своей духовной сущности. Уникальность этой системы в том, что она от нас требует еще и полной отдачи души: непрерывное активное участие в общей для всех заведомой лжи. Вот на это растление души не могут согласиться люди, желающие быть людьми. Когда кесарь, забрав у нас кесарево, тут же, еще настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем! (27)

Л: Разрешите задать вам один странный вопрос: едите ли Вы мясо и рыбу?

П: Не понимаю. Если удастся купить... Ну, и в постные дни есть ограничения.

Л: А ведь все мы считаем правдой — нравственную необходимость милосердия к животным. Но только для многих эта правда стала вопросом спасения души — для вегетарианцев. Миллионы язычников Римской Империи могли всерьез уважать олимпийцев и местных богов, но безболезненно приносить жертвы обожествленному и втихомолку презираемому императору. Лишь один малообразованный народец, обладавший обостренным религиозным чувством, не смог отдать Богово — кесарю. Тысячи лет скитаний и преследований не погасили это чувство, благодаря которому евреи приводили в мир богов и создавали всемирных идолов. Существование еврейского народа — давно примелькавшееся чудо и по сей день оказывает такое влияние на судьбы мира, которое трудно выразить в естественно-научных и статистических терминах. Но я хочу подумать о другом — неужели души всех имперских язычников были растленны?

П: Человек может находиться в неведении, его душа может спать.

Л: Наверно, так можно сказать. Но, знаете, обе наши души

"спят по одному конкретному вопросу" — по вопросу подлинного милосердия к телятам. А "по вопросу" отношения к правительственной лжи наши души "бдят" в разной степени. Вы одухотворены цельной и активной идеологией. Каждый радиовыкрик Вы ощущаете как удар по любимому. Вам кажется, что каждый, кто слышит, должен отталкиваться, кричать в ответ. А ведь наше общество, чаще всего, — просто не слышит!

П: Вы про общество или про себя?

Л: Хоть бы и про себя. Турчин призывал не подписываться на "Литгазету". Допустим, я не вернул тогда подписку из подсознательного страха. Но я ведь возобновляю ее каждый год (а некоторые знакомые подписку прекратили и... нередко бегают к уличному стенду). Или вот еще пример, — пусть в "Последних известиях" ожидается нужная информация. Тысячи людей, полураздраженные, слушают предшествующую жвачку, но ведь приемника не выключают. Или — я пришел на интересный фильм, а в киножурнале подсунили черт-те что. По смыслу предложения "жить не по лжи", я должен несолоно хлебавши вылезти по чужим ногам из кинозала. Каюсь, — не полезу.

Можно называть это по-разному — равнодушие, идеологическая глухота, нежелание устраивать дешевые демонстрации. Важно обратить внимание на то, что часто видимая поддержка лжи основана не на трусости.

П: Сейчас Вы начнете говорить, что идеология вообще не оказывает воздействия на жизнь страны.

Л: Нет, — оказывает. И, возможно, — весьма серьезное, не стану спорить. Но я против идеи примитивного деления нашего общества на палачей, дураков и трусов.

П: Винить нам некого, кроме себя. Каждый из нас — в грязи и навозе по СОБСТВЕННОЙ воле. И не оправдается никто, добровольно бегавший гончею лжи или стоявший ее подпоркою. (28)

Л: Вот-вот. Мне помнится еще — "Зачем стадам дары свободы" с запрятанным в многоточие "Их должно резать или стричь". У столь многих моих сограждан душа слабая, исстра-

давшаяся; у многих других, и вправду, — спящая. Но — не растленная, не погибаящая...

П: "Отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циническое презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние". Это Пушкин, но звучит так, как будто сказано о наших днях. (151)

Л: Вы правы. И, тем не менее, живые души и живые силы не так уж трудно увидеть, если искать в человеке не гончую или подпорку, а — человека.

П: Что ж, народ в массе своей, действительно, не участвует в казенной лжи, и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога. (250)

Л: Похоже, произнеся "народ". Вы, в худших традициях XIX века, имели в виду — не интеллигенция. Участие во лжи как главный признак интеллигенции представляется мне недоразумением. "В массе своей" народ, например, участвует в комсубботниках, которые презирает. Вместе с тем, мне известны вполне обычные интеллигенты, к которым ни разу даже не подходили с предложением пойти на такой субботник. И даже не по каким-нибудь глубоким причинам, а просто так — от отсутствия порядка и большего умения интеллигенции — уклоняться. Интеллигенты склонны уклоняться. И от всенародной комедии выборов, и от праздничных демонстраций и ликований, и от вступления в партию*.

Ну, а всерьез — так именно интеллигенция (разумеется, вместе с другими слоями народа) поддерживает Самиздат, правозащитные движения, семьи заключенных. Надежных статистических данных нет, можно надеяться, даже у ГБ, но все же несомненно, процент лиц, сознательно противопоста-

* В нашем парадоксальном обществе возможны и сугубо нравственные причины "жизни по лжи": человек не уклоняется от лжи (скажем, от того же комсубботника) как раз потому, что для него самого — в отличие от его друзей — это совершенно безопасно.

вляющих себя (хоть в душе, на кухне или с друзьями) государственной лжи, среди интеллигенции наиболее высок.

П: Интеллигенция отчетливее видит ложь, и тем больше ее вина

Л: Я вовсе не хочу снимать вину с интеллигенции и вообще считать вины. Вы сто раз правы — винить нам неко-го, кроме себя. Я лишь говорю, что как принятие лжи, так и всевозможные стадии отталкивания от нее характерны для всех слоев общества. Примером возникающей здесь путаницы может служить следующий анекдотический случай. Бывшему политзаключенному присвоили звание ударника комтруда по предложению старушки: "Что это мы все званья даем пьяницам да бабникам. Вот Х — не пьет, не курит и каждое воскресенье в церкви".

П: Это шуточки. А возьмем все же центровую образован-щину. Отлично видеть жалкость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, звучно и витиевато повторять ту же ложь. О, мы жаждем свободы, мы заклей-мим (шепотом) всякого, кто усомнился бы в желанности полнейшей свободы. Однако, этой свободы мы ждем как вне-запного чуда, сами же ничего не делаем для ее завоевания. (233)

Л: "О дайте, дайте мне свободу,

Я свой позор сумею искупить!"

Вы, конечно, правы. Но еще раз — я не пытаюсь снять вину, я ищу живые силы, по возможно-сти, — в каждом! Раз уж Вы так настойчивы, давайте говорить именно о людях умственного труда.

П: Если шиш, показываемый в кармане, есть внутренняя свобода, — что же тогда внутреннее рабство? Мы бы все-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить, и дей-ствовать независимо от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет. (239)

Л: Я могу принять эту терминологию, но каким рабством назовем неумение мыслить? В большинстве случаев послед-ний циник все же б е з о п а с н е е самого честного и бес-корыстного фанатика, уверенного в подлинной научности

и единственной правильности своего мировоззрения. Поэтому даже самые паршивые лауреаты и академики, подписываю-щие гнусь ради заграничных вояжей, могут начать выпрям-ляться из своего кривостояния при подходящем изменении климата. И тот факт, что они стараются успокаивать свою со-весть благоглупостями типа: "все равно ничего не изменится" или "надо занимать посты, которые иначе были бы заняты подлецами", показывает непустоту даже этих душ. Тем более, что во многих известных случаях такие люди и вправду бла-готворней на своих местах, чем вышеупомянутые гипотетиче-ские подлецы. Короче, даже этих людей не следует сбрасывать со счета, когда мы ищем реальные основания надежды. Уже следующая группа интеллигенции вносит ограниченный, но конструктивный вклад в духовный потенциал общества. Мироощущение членов этой группы может быть весьма му-чительным, хотя их формальный идеал — Швейк. Их положе-ние, действительно, заставляет честных людей служить под-порками лжи. Ерничанье и издевательство над самим собой могут оказаться для них единственным способом сохранения минимального душевного комфорта. Но от них же — самые точные анекдоты и самые яркие факты. Среди них циркули-рует Самиздат, они же и среди его авторов.

П: Не стоят ни гроша все разоблачительные анонимные памфлеты, программы и объяснения. (28)

Л: Совершенно не согласен. Иногда важным фактом об-щественной жизни является открытая подпись под самым пустячным документом. Вернемся все же к этому феномену Швейка-Радека. Я счастлив, что нахожусь в условиях, предо-ставляющих мне большую свободу в выборе поведения. Мне жаль этих людей, и я вижу в них хотя и несколько извращен-ную, но живую силу.

А теперь модель поведения, которая представляется мне самой нормальной. Человек в максимально возможной сте-пени избегает личного участия во лжи. Он идет на замедление или полную остановку своего продвижения по службе, он го-тов пожертвовать заграничной поездкой или чем еще. Но он вовсе не хотел бы быть выброшенным из жизни, которая

представляется ему естественной. Не говоря уж о любимой работе — которую, кстати, ему приходится выполнять честнее, чем окружающим, лучше. И которая тоже ведь бесполезна для общества.

П: Не будем о пользе, будем — о душе. Ведь каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписи, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всем, что мы видим, слышим или читаем. (258)

Л: Это правда, хотя и несколько преувеличенная. Вот тут-то и вступает в действие механизм не вегетарианства. Ведь большая часть лжей — совершенно внечеловечна, не приносит никому непосредственных физических неприятностей, служит лишь выветренно ритуальным признаком лояльности. И вот, оказывается, почти каждой будничной лжи можно не придавать значения. Не допускать ее в ту область, в которой она с настоятельностью и трагизмом поставит вопрос — либо гибель души, либо кардинальная смена жизненных установок.

П: Ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам. (Мат. 6)

Л: По большому счету Вы правы. Рутинка "невегетарианства" может погрузить душу в спячку, но нельзя ведь заменить ее рутинкой жертвенности. Евангелие не может снять с меня необходимости каждый раз решать творческую задачу — в чем мой сегодняшний долг? Причинить реальную боль реальной матери, посадить реальных детей на пресловутую корочку или подписать очередное соцобязательство, ныряющее в Лету в следующую секунду. Тем менее можем мы пользоваться евангельскими советами, чтобы судить поведение других людей. У каждого свой путь, свой звездный час. Своя истина и своя боль. Свои идеалы, свои представления о нравственно необходимом и нравственно невозможном. Из тысячи услышанных лжей одна западает и, действительно, может души и губить душу. Каждый знает, за что он готов жертвовать и чем, у многих есть опыт смелости, у всех — опыт

трусости. Каждый ответит на Суде Совести. Но судить — не нам!

П: Разве я говорю — суд. Не суд, а зов: Судьба России находится в наших руках, зависит от индивидуальных усилий каждого из нас. Но самое существование может быть тут сделано на единственном пути — через ЖЕРТВУ. Обществу столь порочному нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составит элита, кристаллизующая народ. (273, 255)

Л: Действительно, люди, идущие на жертву, в максимальной степени несут в себе заряд, способствующий возрождению страны. В первую очередь их усилиями завоеваны те элементы свободы, которые практически существуют: свобода думать и говорить с друзьями, свобода неофициального творчества и культурного Самиздата, частичная свобода демонстраций и политического Самиздата, возможность обращаться к мировой общественности и печататься за границей, ограниченное право на эмиграцию и т.д.

П: Ох, уж эти оптимисты...

Л: Завоеваны, завоеваны, уверяю Вас... Конечно, правительство старается "зачернить серую полосу"* . Конечно, у него еще достаточно сил, чтобы при крайности эти завоевания уничтожить. Но люди, готовые к жертве, упомянутыми плохо формализованными правами — уже о б л а д а ю т . В этой связи меня интересует еще одна частность: как быть с жертвенностью законспирированной?

П: Это еще что за жертвенность? Все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация, "только не вылазки в одиночку", тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор. (255)

Л: Так ведь очевидно, что такое необходимое явление как Самиздат не могло бы существовать без людей, принявших на себя полную меру риска и выполняющих на службе распоряжения партийных органов. Но вернемся... Вы хорошо сказали - не суд, а зов. Конечно, чем чаще мы будем осознавать стоя-

* Терминология А. Амальрика. ("Просуществует ли СССР до 1984 года?", разные издания).

щие перед нами нравственные проблемы и решать их в пользу добра и правды — тем лучше. И зов этот — постепенно окажется благотворное влияние на общество. Особенно, если мы будем терпеливы и терпимы. Терпеливы, так как чудес не произойдет. Наше общество слишком прагматично, чтобы встать на путь нравственного воскресения. Только мне это не кажется бедой, даже здесь я вижу основание надежды и главный урок нашей истории: ради Бога, без идеологического фанатизма.

Мы все уже способны понять и почувствовать, что инакомыслящий — не "враг народа" и не "слуга дьявола". Что у каждого — свой мир и свои представления о добре. И знаете, пора учиться незнакомому на Руси искусству — искусству подлинного компромисса, не имеющему ничего общего с лакейством. (Вот вам лингвистическое наблюдение Н. Берберовой: "Русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости".)

А кроме того — лишь та жертва угодна Богу, которой не ищут. Тут есть один большой вопрос. Как часто человек, ставший на путь протеста, может сделать протест своей профессией. Это в некоторых случаях благотворно для общества, но вполне может оказаться и чрезвычайно опасным — например, может возникнуть профессиональный революционер и насильник. В любом случае это направление развития личности может...

П: привести к отказу от активного участия в жизни, в любой культурной деятельности? (269)

Л: Да. А ведь как бы ни относиться, скажем, к "осторожному просветительству"...

П: Ну да, знаем. То ли создавать "тайные христианские братства", то ли просто "думать"!, медленно распространять свое верное понимание... Все та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. (241)

Л: Нам не отпущено тысячи лет, но от нетерпения тоже ничего хорошего не выйдет. Стебель растет незаметно для гла-

за, а что, если мы будем его подтягивать и подстегивать?

П: Хорошо. Обсудим общий принцип, связанный с изменением наших установок в сторону большей жертвенности. В жизни, действительно, каждый рассчитывает свои силы и решает, как далеко он может пойти по этому пути.

Начнем с литературы, где поставленный вопрос яснее всего. Чтобы подыматься по иерархической лестнице, писатель, как правило, должен скрывать и извращать истину. Все прекрасное, правдивое, глубокое в наше время было создано людьми, которых судьба, как бы жестоко она это ни сделала, но защитила от опасности быть затянутыми в эту губительную для литературы эпоху. Только вдали от нее литература и имеет шанс выжить. Похожая картина и в гуманитарных науках.

Может показаться, что в естественных науках мы лишены свободы выбора. Тут, чтобы стать ученым, надо окончить институт, иметь доступ к лабораториям, ускорителям и машинам. Но именно сверхорганизованный характер современной науки является ее проклятием. Наука превращается в гонку, для подавляющего большинства не остается ничего, кроме вида пяток бегущего впереди и сопения наступающего на пятки сзади. Это направление развития обречено, но сможет ли наука свернуть на другой путь, путь, по которому шли Архимед, Галилей и Мендель? Это сейчас основная проблема науки, вопрос ее жизни и смерти.

Наконец, вспомним о религии. От усилий, приложенных в этой области, зависит жизнь, смерть или воскресение России. Это важнейшее поле деятельности требует сотен тысяч рук и голов. И уж, конечно, работать на нем можно, только отказавшись от предлагаемой жизнью системы ценностей. (270-272)

Л: Во многом ваши доводы убедительны. Любовь к иерархическим лестницам, конечно, губительна и для души, и для культуры. Но рассмотрим все же и аргументы против "излишней жертвенности". Писателю трудно без читательской аудитории, а режиссеру вовсе невозможно без продюсера. Даже гений не станет полноценным ученым только по книжкам, даже священнику придется жить во лжи. Полунищее существова-

ние, приработки грузчика, случайные уроки — мало чему способствуют. Поэтому ваши советы в столкновении с реальной жизнью могут привести к болезненному увеличению числа людей, утративших нормальное существование, профессию, семью, осмысленную деятельность и, в итоге, — смысл жизни и душу. Душа у человека одна. При соблюдении честности в человеческих отношениях ее можно сохранить. При строгом соблюдении честности в отношениях с господствующей идеологией — человек в один-два шага превращается в правдоискателя. Это прекрасное, столь характерное для Руси состояние души. Но прежде, чем сделать эти шаги, человек должен честно поговорить сам с собой:

— Есть два рецепта спасения моей души. Один выговорен Некрасовым ("Поэтом можешь ты не быть..."). Второй можно прочесть у Самойлова.

**"Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной, — есть ли в том корысть?
И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость — перья грызть!
Быть хоть ненадолго с собой в согласьи
И поражаться своему уму!
Благодаренье Богу — ты свободен,
В России, в Болдине, в карантине".**

Совместить правдоискательство и культурное творчество я смогу, только если мне безумно, невероятно повезет.

Действительно, людей, оказавшихся способными на такое совмещение, можно пересчитать по пальцам. Вышедший из тюрьмы и с к у с т в о в е д говорил мне однажды, что не пошел в Эрмитаж, — ведь те, кто там, не могут ходить по музеям. Я никогда не видел человека, который казался бы мне ближе к святому, ни на кого мне не приходилось смотреть с таким щемящим чувством.

К счастью, России нужны и граждане, и поэты, у них нет оснований "встречать друг друга надменной улыбкой". Этого не понимал Некрасов, это пытались объяснить "Вехи". Взаимная ненависть нигилистов и "реакционеров" дорого обошлась России. Постараемся не множить старые ошибки.

П: Вы пытаетесь превратить меня в нигилиста, хотя по всем

вопросам, и уж тем более — по вопросу о высшем смысле культуры, наши позиции диаметрально.

Л: Я и не думал обвинять вас в нигилизме. Я хотел лишь уравновесить возможные негативные следствия вашего призыва.

При всем понимании спасительной роли жертвы, я все-таки продолжаю надеяться как на основную реальную силу нашей духовной оппозиции на людей, которые и в мысл я х, и в п о в е д е н и и (хотя бы это было поведение анонимного автора или машинистки самиздата) противопоставляют себя официальной лжи. Но делают это, так сказать, де-факто, а не де-юре. Явочным порядком, а не путем формальных объявлений.

П: Действительно, в нашем обществе официальная идеология не пристает к живой душе. Но этого еще мало. Мы нуждаемся в новых духовных энергиях, в источнике положительно-го влияния. И таковое существует уже в нашем обществе — к нам возвращается почти утраченное христианское сознание. Мы знаем — Бог творит историю руками людей. Это мы, каждый из нас, может услышать Его голос. Будущее неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы. (152,276,252)

Л: Наверно, я согласен. Но давайте все же относиться терпимо и уважительно к любым формам возрастания личности, даже если эти формы носят безрелигиозный характер. Что может быть неправильного, в частности, в призыве "Думать!", вырабатывать свое мироощущение и мировоззрение, помогающее стоять в этом мире, придающее этому стоянию смысл. А будет ли такое мировоззрение христианством или либерализмом, будет ли идти, скажем, речь о правах неотъемлемых и богоданных или о неотъемлемых и естественных, это, право же, не так важно.

Стремиться к синтетическому миропониманию — это, если хотите, духовная программа. Жить де-факто — это программа политическая.

П: Вот до чего, видимо, нам удалось договориться:

Мы должны сохранить и осознать ту огромную духовную

силу, которую мы, наша страна, купили дорогой ценой. Мы должны претворить ее во внутреннюю крепость сопротивления лжи и насилию вплоть до готовности на жертву. И этот процесс должен происходить в душах.

Л: В душах людей и, если говорить вашими словами, — в соборной душе нашего народа.

Вышел из печати и поступает в магазины
русской книги сборник стихотворений

САВЕЛИЯ ГРИНБЕРГА

МОСКОВСКИЕ ДНЕВНИКОВИНКИ

Основной материал сборника: стихотворении из московских тетрадок автора периода от 40-х до 60-х годов .

В книгу включены также:

стихи военных лет;
палиндромические стихотворения;
несколько страниц из крымского цикла;
несколько страниц из новой книги.

Издательство "СТАВ", Иерусалим

Заказы направлять в издательство "СТАВ":
Иерусалим, улица Яффо 97, Мерказ-Клаль, магазин 324.
Телефон (02) 245252.
Почтовый ящик издательства "СТАВ" — 11034, Иерусалим.



Дора ШТУРМАН

СТУКАЧИ И ГОНГ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В начале семидесятых годов попала в наш дом машинописная копия книги Василия Гроссмана "Все течет". Ее надо было вернуть через сутки. Я наговорила для себя на пленку рассказ Анны Степановны о коллективизации и голоде, главу о Маше и размышления автора о стукачах. Казалось бы, в книгах должна потрясать новизна. На деле же чаще потрясает и запоминается нечто, соотносимое с собственным опытом читающего. Моя семья роковым для нее образом была вовлечена в события начала тридцатых годов на Украине. Я провела несколько лет своей молодости в лагере. Знаю людей, оклеветанных и проносивших полжизни незаслуженное клеймо стукача. У меня за спиной были свои стукачи, но мне посчастливилось быть знакомой и с теми, кого ни сломить, ни оклеветать не сумели.

Гроссман исследует несколько типов доносителей. Он ненавязчиво и горестно просит читателя подумать над их судьбами "не торопясь. Потом уж приговор". Он не требует от жертв доносителя непосильного для них: "Не судите, да не

судимы будете". Он не произносит, остерегая и обезоруживая: "Кто из вас без греха, пусть бросит в них камень". Он только напоминает нам об ответственности за вынесение приговора.

Недавно я перечитала книгу Гроссмана, и падали на душу, как кирпичи, горестные и мудрые его слова:

"Кто виноват, кто ответит..."

Надо подумать, не надо спешить с ответом.

...Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре...

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание; либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист, а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерьном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах.

В начале было слово... Воистину так.

Как быть с погубителями-доносчиками?!"*

Мне со своими — уже никак не быть: все в прошлом, последние счёты сводятся жизнью и смертью. И все же в душе, в мыслях, в воспоминаниях, при чтении чужих книг — к а к с н и м и быть? Над этим думал и Гроссман. И после каждой рассказанной им истории, после каждого обнаружения чужой вины:

"...Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике". "И все же подождем, — не подумавши, не станем казнить его". "Да, да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека".

Сексотам и доносчикам в размышлениях Гроссмана предоставлено право защиты и самозащиты. Вот как они себя зашищают:

"Обвинитель: Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан?"

Сексоты и доносчики: Да, в некотором роде.

Обвинитель: Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей?"

Сексоты и доносчики: Нет. Категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели, мы работали, так ска-

*В. Гроссман. "Все течет", стр. 59. Изд. "Посев". Все ссылки — на это издание.

зать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством.

Обвинитель: Но ведь иногда вы писали по своему собственному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву.

Доносчики и сексоты: Эта наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим, к истреблению готовились лишь люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению...

Обвинитель: Да, доносчики и сексоты знали свое дело. Но все же ответьте мне, для чего вы стучали?"

Доносчики и сексоты (хором): Меня заставили... били... А меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия... Что касается меня — я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал.

Обвинитель: А вы, четвертый товарищ, почему молчите?"

Иуда-четвертый: Я-то что, зачем вы ко мне придираетесь, я человек темный, меня легче, чем образованных, сознательных обидеть".*

От имени всех обвиняемых слово для их и своей защиты берет "ученый сексот", близнец основного доносителя по нашему "делу", профессора В. Человек изворотливый и начитанный, он превращает защиту в атаку:

"Почему вам обязательно хочется обличить именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его. Ведь наш грех — это его грех, судите же его. Бесстрашно, вслух... Затем ответьте, пожалуйста, почему вы спохватились именно теперь? Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов, иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталинской эпохи. Почему же вы, соучастники, должны судить нас, соучастников, определять нашу вину? Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича: нет в мире виноватых! А в нашем государстве новая формула — все миром виновны, и нет в мире одного невинного. Речь идет о мере, о степени вины. Пристало ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили, вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов, мертвые молчат. И вот разреши-

*В. Гроссман. "Все течет", стр. 66—67.

те на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой подлой всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?""*

Действительно, в чем?

И в диалог, в прения сторон вступает автор:

"Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физикохимическая сторона человека. Вот из-за этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Стукачи проросли из человека. Человек обязан лично себе за мразь человеческую**...

Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти ворохи лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они, мерзки со своими добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: "Человек — это звучит гордо!""?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы, на них давили триллионы пудов, нет среди живых невинных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и суде.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?""***

Почему же все-таки "наше" общее "человеческое непотребство", а не непотребство каждого из нас в отдельности? Ведь мы и в одинаковых обстоятельствах — разные. Хотя бы как-то, хотя бы частично — отвечает каждый из нас сам за себя или нет?

И что означает: "Человек обязан лично себе за мразь человеческую?" Действительно ли — лично себе, неповторимо-конкретному, или только некоему спасительно абстрактному человеку, который то "звучит гордо", то отбивает охоту жить "нашим человеческим непотребством"?

Бесспорно, нельзя вменять человеку в вину сказанное под пыткой. На пытку отвечает не человек, а его тело, мера выносливости которого ограничена. За сказанное под пыткой

* В, Гроссман, "Все течет", стр. 68—69.

** Там же, стр. 70.

*** Там же, стр. 71.

должен отвечать пытавший. Именно здесь, под пыткой, принимают решения не люди, а "железы внутренней секреции, хлюпающая кашица в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек". Ответы под пыткой "рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, размножения..."

Случайно ли причисляются к лику святых мученики, не изменившие своей вере — себе, своему духовному началу — под пыткой? Можно ли осудить не вынесших?

Но ведь сексот и стукач сдаются не однажды и не только в невыносимых мучениях. Они, зачастую, предаются годами, порой — всю жизнь, действуют протяженно во времени. Тут есть возможность одуматься, опомниться, собраться с силами, обрести опору в себе самом или вне себя. Мы знаем людей, которые, давши подписку, опомнились и потом на хозяина не работали, как тот ни давил: отказывались, ссылались на обстоятельства; прикидывались идиотами, кончали с собой.

Нет, В. Гроссман, покоряющий своей человечностью, не выводит нас из тупика: конечно, нельзя никого судить, не вдумавшись в его путь; нельзя осуждать только стукачей и сексотов в онемевшем обществе. Но нельзя же и снять ответственность с человека за то, что он делает, перенести ее с души на физиологию, с разума — на ферменты, с личности — на общество и обстоятельства, с меня — на мои ткани и органы!

...Я останавливаюсь в недоумении: кто же должен нести ответственность за то, что я делаю? И вдруг оказывается, что недоумеваю я зря, все уже решено.

"Далеко не просто в жизни — самое простое. Кажется, и в ИТЛ додумывались некоторые, что стукачей надо убивать... "Убей стукача!" — вот оно, звено! Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей — вот оно!... Стукачи — тоже люди?.. Надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего устрашения приказ по всему Песчаному лагерю: на каком-то из женских лагпунктов две девушки (по годам рождения видно, как молоды) вели антисоветские разговоры. Трибунал в составе... Расстрелять!

Этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по десять лет хомута — какая з а л о ж и л а стерва, тоже ведь захомутанная?!
Какие же стукачи — люди?!""*

* А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", т. 3, ч.ч. У, У1, УП "ИМКА-Пресс". Париж, стр. 244—246. В дальнейшем, все ссылки на эту книгу — по этому изданию и тому.

Подождите, остановитесь! Посмотрите сперва на них "крупным планом", подумайте, послушайте. Я попрошу вас об этом оттуда, из камеры, из барака, с больничной лагерной койки! Среди доносителей по нашему университетскому делу была наша ровесница, дочь расстрелянного и арестантки. У нее за спиной в 19 лет было крушение домашнего очага, потеря не только отца, но и матери и страшный захолустный детдом для детей репрессированных. В 1937 году тринадцатилетний ребенок сжался в комок и не мог распрявиться, не мог ни на миг избавиться от своей покинутости и осажденности. Стэлли (так ее звали) я сама заслонила бы, оказавшись рядом. Чем старше я становилась и чем ближе к ее исходному положению загнанного, запуганного "вражеского" ребенка могла оказаться моя дочь, тем осторожнее я Стэлли судила. Нет, нельзя ее убивать: ее можно было иначе остановить.

Привлеку еще одного свидетеля, арестанта, а не "вольняшку". У нас был старший друг в Первом лаготделении КазУИТЛК, врач, толстолиц по убеждениям, Федор Алексеевич, отбывавший второй срок по лагерному доносу. Он был очень немолодым человеком, и я, вероятно, не имею права называть его другом, скорее — учителем. Но он бы не рассердился. Его послали работать врачом на участок "ГРЭС", в горы, за 25 километров от Алма-Аты. Там озверевший начальник режима, несколько охранников и "самоохранники" из заключенных забили насмерть группу не угодивших им арестантов. От Федора Алексеевича потребовали справок о естественной смерти — он не дал. Начальство в ту пору и в УИТЛК (майор Архангельский), и в первом лаготделении (капитаны Факторович, Терской) было сравнительно сносное, и садисты боялись, что будут судимы, если убийство откроется. Участок заперли на замок даже для вольного персонала и начали терзать Федора Алексеевича. Вольнонаемная медсестра, казашка, совсем молоденькая, бежала из зоны; не перевалом, а горными тропками пробралась в город и сообщила о происходящем Архангельскому. Была эксгумация трупов, потом суд. Федора Алексеевича не освободили, убийц не расстреляли: им дали какие-то сроки. Позднее мы снова

встретились с Федором Алексеевичем уже на другом участке и снова спорили о ненасилии. В отличие от него, я никогда не-противление злу насилеием не принимала и не приемлю. Он же так при этом догмате и остался. И объяснял нам, гордясь и любуясь поступком сестры-казашки, что даже эта чудовищная история раскрыла в людях не только зло, но и величие. О своем величии он не думал: считал, что выполнил только профессиональный долг.

Если судить по Евангелию, Федор Алексеевич — христианин. Думаю, что не только на "сытой воле" (не знаю, дожил ли он до нее: мы расстались в 1947 году), но и в лагерном карцере его потрясли бы следующие строки из упомянутого уже "Архипелага ГУЛаг". Потрясли бы столько же интонацией, уверенной, радостной, чуждой всяких сомнений, сколько и сутью высказываний:

"Теперь убийства зачередали чаще, чем побег в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно: никто не шел сдаваться с окровавленным ножом; и себя и нож приберегали для другого дела. В излюбленное время — в пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключенные еще почти все спали, — мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Проверив, что он мертв, уходили деловито.

Они были в масках, и номеров их не было видно — спорты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам — они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьев теперь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не видел. Это было спасение самого себя! Потому что назвавший был бы убит в следующие пять часов утра, и благоволение оперуполномоченного ему ничуть бы не помогло.

И вот убийства (хотя их не произошло пока и десятка) стали н о р м о й, стали обычным явлением. Заключенные шли умываться, получали утренние пайки, спрашивали: сегодня кого-нибудь убили? В этом жутком спорте ушам заключенных слышался подземный гонг справедливости...

Р у б л о в к а, как называли ее у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной. ...Это была новая и жутковато-веселая пора в жизни Особлага!"*

Ярко и мощно, как все, что написано этим пером, но до

*А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛаг", т. III, стр. 253.

чего же страшно! Один из героев А. Солженицына ("В круге первом"), инженер-заключенный, на предложение гебистов создать аппарат для автоматического фотографирования подозреваемых и наблюдаемых лиц, ответил: "Человеков ловить не буду". В "рубилровке" подобного рода возражение не сработало бы, ибо "какие же стукачи — люди?" Кого жалеть — нелюдей? В чьих делах разбираться? Их истребление скорей повышает тонус, чем ужасает. Оттого и веселой была та пора в жизни Особлага.

Страшная эта формула: "Какие же стукачи — люди?!" — член хорошо знакомого нам всем ряда наперед предложенных самооправданий. "Какие же люди — рабы, варвары, арестанты, еретики, нехристи, иноверцы, иноплеменники, попы, монахи?!" "Какие же евреи — люди?!" "Какие же фраера — люди?!"

Но все это — люди, и нам не отделаться от их принадлежности к человечеству, от обязанности их судить прежде, чем выносить приговор. И стукачей тоже.

Люди редко уничтожают других людей тотально, как целую категорию, не объявив предварительно, что уничтожаемые — не люди или люди неполноценные, ибо "страшно казнить и страшного человека" (В. Гроссман).

Почему-то получается так, что самое главное о "рубилровке" сказано в примечании, а не в тексте:

"Тут время оговориться. Не все было так чисто и гладко, как выглядит, когда прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы — "умеренных" и "крайних". Вкрались, конечно, и личные расположения и неприязни, и игра самолюбий у рвущихся в "вожди". Молодые бычки-"боевики" далеки были от широкого политического сознания, некоторые склонны были за свою "работу" требовать повышенного питания, для этого они могли и прямо угрожать повару большой кухни, то есть потребовать, чтоб их подкормили за счет пайка больных, а при отказе повара — убить его безо всякого нравственного судьи: ведь навык уже есть, маски и ножи в руках..."

Но несмотря на эти отклонения, общее направление было очень четко выдержано, не запутаешься. Общественный эффект получился тот, который требовался**.

Итак, опять "лес рубят — щепки летят"? Но в общем, лес

*А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", т. III, стр. 251-252.

валят, который надо. И в этом следует верить на слово анонимным нравственным судьям и быстро обретшим навык в убийствах "молодым бычкам-боевикам".

Когда я стала по второму и третьему разу вчитываться в "жутковато-веселые" страницы "рубилровки", картина возникла еще более страшная, чем при первом чтении. Для меня несомненно, что "бычки" имели прочный навык к убийству еще до резни стукачей — и на воле, и в лагере. Убивать нужно уметь. Безоружных, да еще ножом, а не пулей — тем более. Без навыка убивать визжащего или онемевшего от ужаса человека и потом "деловито" уходить нельзя.

Они не только "со стороны" в иные моменты "очень походили на блатных в законе, тем более, что были такие же молодые, упитанные, широкоплечие..." Они и были "в законе": осуществляли расправу по приговору некоей узкой конспиративной группы, передоверив свою совесть и руки ее "паханам". "...Закон и прояснялся, но новый, удивительный закон: "умри в эту ночь, у кого нечистая совесть"*

Это еще одно эхо тотальной формулы: "Какие же те, у кого нечистая совесть, люди?!" "Кто из вас без греха?.." Как это совместить? Несколькими страницами ранее автор комментирует письмо к нему одного бывшего конвоира. Молодой человек пытается объяснить, почему солдатам, проходящим действительную службу в лагерной ВОХРе, трудно понять, чему они служат. Бывшему конвоиру кажется, что автор "Архипелага" недостаточно пристально взгляделся в их души. Вот суть ответа А. Солженицына бывшему конвоиру Владилену Задорному:

"Не главный ли это вопрос XX века: допустимо ли исполнять приказы, передоверив совесть свою другим? Можно ли не иметь своих представлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников? Присяга! Это торжественные заклипания, произносимые с дрожью в голосе и по смыслу направленные для защиты народа от злодеев — ведь вот как легко направить их на службу злодеям и против народа!"

И против лиц, и против групп, добавлю я.

А чуть выше сказано: "Не изо всех поколений и не всех

*А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", стр. 247.

народов можно вылепить таких мальчиков"*. Если бы последнее было сказано А. Яновым или А. Зиновьевым, им бы тут же "пришили" русофобию. Я же позволю себе утверждать, что "изо всех поколений" и изо "всех народов" можно вылепить таких мальчиков (из многих уже вылепили, из других лепят) — при той полноте и всеохватности дезинформации, которых достигли диктатуры XX века.

Но дело не в этом, а в том, что, по мнению автора, мальчишки-конвойные должны взять на себя всю полноту ответственности за исполнение чужих приказов. "Боевики" же в "рубилровке", исполняя смертные приговоры, должны положиться на тайных судей.

Да и что вообще им было известно? Обстоятельства "дела"? Степень надежности следствия? Критерии обвинения и источники сведений, которым подчиняется "суд", сам себя кооптировавший? Ведь приговоры невозможно было даже обжаловать!

Почему же предусмотрены автором столь разные меры личной ответственности за содеянное — для конвоиров и для "боевиков"? Потому что в обоих случаях рассматривается только категория лиц, но не лицо. Одна категория "плохая" — другая "хорошая". Отсюда и различие меры.

Но право нельзя подчинять расплывчатым, эмоциональным, хотя и весьма эффективным формулировкам. Умри в эту ночь все, у кого нечистая совесть? Будем точнее: умри в эту ночь, в этом жутком спорте, те, о ком неведомые судьи считают, что у них нечистая совесть.

У Ленина есть по этому поводу очень четкая формулировка: "...должны погибнуть те... о ком мы считаем, что он должен погибнуть***".

И уж никак не "все": из тех, у кого нечистая совесть (если даже принять, что у судей и исполнителей она стопроцентно чистая), умри в эту ночь те, кого можно убить себе дешевле: "Установка начавшегося движения была: резать только стукачей, а надзирателей и начальников не трогать****"

*"Архипелаг ГУ Лаг", стр. 235.

**Ленин, Соч. т. 33, стр. 48.

*** А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", стр. 249.

Почему? У них была чище совесть, чем у стукачей? Меньше была их вина перед заключенными? Нет, разумеется.

"Система, постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя. Если бы убивали надзорсостав и офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58-8, террора, но тогда они получили бы и легкую возможность давать расстрел. Сейчас же у них появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в Особлагерях под сучью войну, сотрясавшую в это самое время ИТЛ и Руководством же ГУЛага затеянную"**

Думаю, что дело здесь не в стремлении системы к самообману и не в ее боязни дать лишнюю сотню-другую "58-8": она их столько лепила чуть раньше! Не берусь решать, почему растерявшееся лагерное начальство маскировало политические убийства под "сучью войну": может быть, этому способствовала общая обстановка богатыми событиями 1953 года. Но подкрашивание политического террора под уголовную междоусобицу нужно было прежде всего убивающим, а не начальству. Кроме того, рискну утверждать, что никакие маски, споротые номера и даже ку-клукс-клановские капюшоны не сделали бы "боевиков" невидимыми для лагерного начальства. За каждого убитого арестанта начальство хоть как-то, но должно было отчитаться, списать его.

Не случайно из Федора Алексеевича так жестоко выбивали справки о "естественной смерти" убитых на "ГРЭСе". Нередки бывали случаи, когда за убийцу шел сдаваться на вахту другой заключенный: проигранный, проигравшийся или как-то иначе приговоренный "кодлой" к этому шагу. Убийц либо очень скоро перехватывали бы, маскируя или не маскируя "рубилровку" под уголовщину, либо ей попустилось почему-то начальство. И тогда — кого же все-таки уничтожали? И кто?

Но отвлечемся окончательно от этих соображений. Примем "рубилровку" в той ее версии, в какой она видится автору "Архипелага". Даже тогда очевидно, что для тайных вершителей справедливости выбор категории жертв подкреплялся дешевизной жизни любого зека, по сравнению с жизнью любого начальника.

* А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", стр. 255.

Автор ведь и сам говорит: "Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше, их оперуполномоченные — еще больше; писавшие инструкции и приказы — еще больше; а дававшие указание их писать — больше всех"*. Но, тем не менее, удар приходится только по одной из низших ступеней иерархии: вершители справедливости рубят щупальца, а не голову — не лагерное начальство.

Когда же будет учтена "иерархия виновности"? После смерти жертв? После гибели низшей ступени в цепи виновных? При чем же тут максималистская фраза "в с е, у кого нечистая совесть"? К чему толковать отчаянную реакцию на доносительство как торжество справедливости?

Согласно привычной для всех нас, окончивших советские школы и вузы, псевдоисторической схеме, всякое стихийное, эпизодическое движение является стадией низшей, по сравнению со всяким организованным, планируемым движением. Но на какой шкале? С чьей точки зрения? В "зоне", при полном отсутствии гласности — там, где нельзя открыто организовать правовую следственную, судебную и пенитенциарную процедуру, — там трудно придумать что-нибудь страшнее "рубилочки".

Эта мафия избавлена от всякой подконтрольности массе. Она сильна своей анонимностью и своей структурой. Кто ей окажет сопротивление в разобщенной и аморфной среде, которую вставшие из ее рядов новые судьи так беспощадно взялись очищать ножом!

Идеально избавить себя от нечистой совести общество и человек никогда не сумеют (разве что — избавясь вообще от совести). В условиях же, описанных А. Солженицыным, этого и на более или менее удовлетворительном уровне нельзя достичь.

Автор, правда, уверен, что "при документальной неподтвержденности стукачей! — неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько

*А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", стр. 236.

с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО"*.

Но его уверенность остается столь же неподтвержденной, сколь и меткость невидимого зековского ОСО. Это законспирированное судилище по определению не могло за себя ручаться. Слово "суд" здесь вообще неуместно, ибо нет ни состава, ни процедуры суда.

В таких обстоятельствах стихийные удары по стукачам со стороны возмущившейся, обозленной жертвы доноса или ее друзей зачастую наносятся с большей точностью, ибо мстители лучше информированы о деле. В то же время я понимаю, что в любом случае превращение людей, запертых в одной клетке, одних — в предателей, других — в их убийц — страшно.

Вспышка стихийной ненависти, стихийная личная реакция заставляет действовать собственноручно. А для нормального человека, каковых большинство, собственными руками убить трудно и страшно. Схлынет гнев — и пройдет способность убить. Выкричится человек, избьет негодяя — и не состоится убийство. А стукач уже будет разоблачен. И напуган. Зато по поручению или чужими руками убивают холодно и беспощадно: одни — не чувствуют моральной ответственности, другие — "сами" не убивают. Объективно становится больше ответственных за преступление, субъективно — ответственность исчезает или уменьшается у всех участников таких убийств. Это частность общеисторического парадокса, который так хорошо чувствовал Достоевский: соедините инициатора и исполнителя убийства в одном лице — и не так уж много найдется глубокомысленных душегубов, способных и сочинять дозволение на убийство, и убивать собственноручно.

"Не было выхода, — скажут мне. — Не было способа защищаться от стукачей иначе".

Возражение это отпадает, потому что летописец "рубилочки" на него ответил: "...стукачи нужны и полезны лишь пока они толкутся в массе и пока они не раскрыты. А раскрытый

*А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛаг", стр. 248.

стукач не стоит ничего, он уже не может больше служить в этом лагере".

О том же поведал нам и незабываемый Руська "В круге первом". "Страна должна знать своих стукачей!.." В ГУЛаге была своя почта, и каждая репутация быстро распространялась на целые лагерные империи. Если речь идет в первую очередь о нейтрализации, а не о мщении, то лучше разоблачения здесь, в этих условиях, ничего не придумаешь. Секретный сотрудник (сексот) дееспособен, лишь пока он секретен.

Беда в том, что пафос "рубилочки" зовет не к обезвреживанию стукачей, а к возмездию. Если бы главным было их обезвреживание, а не отмщение, не было бы в великой книге, направленной против жестокости и несправедливости, места чувственно осязаемой оде спасительному ножу. Не возникла бы в книге и некая полуреабилитация кровной мести, прерываемая лишь краткими оговорками:

"Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз он понял, что есть главная сила на земле: к р о в н а я м е с т ь .

Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и производим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести — но каким страхом веет на все окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распушенности, по капризу? И, тем более, какой не чечен решится связаться с чеченом — сказать, что он — вор? или что он груб? или, что он лезет без очереди? Ведь ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок! И даже если ты схватишь нож (но его нет при тебе, цивилизованный), ты не ответишь ударом на удар: ведь падет под ножом вся твоя семья! Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами, и "хозяйева страны", и нехозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию.

"Бей своих, чтоб чужие боялись!" Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча.

А что предложило им социалистическое государство?*"

Десятки раз я перечитываю этот отрывок и убеждаюсь:

*А. Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг", стр. 325—335.

"дикий закон", "бессмысленная резня" — здесь определения явственно иронические; это пародируемые автором представления некоего "цивилизованного" человека, штампы его интеллигентского сознания. В глазах же писавшего, "резня... не так бессмысленна", "поле страха" не бесполезная вещь для "маленькой горской нации". И это настроение переключается с настроением "рубилочки", хотя чеченское сообщество выглядит тут скорее приклатненным, чем укрепленным. "Поле страха" приемлемо, если его генерирует сила, симпатичная автору.

"Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой складывается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Она стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на своем пути этой второстепенной ценностью", так писал один из авторов сборника "Вехи" Б.А. Кистяковский*.

Могуче-эмоциональный интеллект Солженицына неотступно поглощен ценностями и целями, более фундаментальными, в его глазах, чем Право. С одной стороны, Солженицын сам пережил весь ужас бесправия и бессилия и неукротимо их ненавидит. Смысл его жизни — в борьбе против них.

С другой, — он тяготеет к идее сильной власти, и это так же понятно, как его ненависть к порабощению. Для нынешней России, а Солженицын живет Россией, идеальным выходом был бы длительный, плавный, сопряженный со многими глубинными изменениями переход от диктаторских к нетоталитарным обстоятельствам. Такой переход могла бы осуществить только сильная и целеустремленная власть. Он не под силу дискусионному клубу типа Временного правительства. Как все страстно поглощенные своей истиной люди, А. Солженицын окрашивает владеющим его душой настроением любую ситуацию, которая его занимает. Но сильная и целеустремленная власть лишь в редчайших случаях бывает сдержанной и щепетильной по отношению к чужим правам. И если слабая власть порождает хаос и легко уступает деспотизму, то сильная власть сама легко вырождается в деспотизм. И от этого противоречия нельзя уйти.

* "Вехи". Сборник статей о русской интеллигенции. Москва, 1909.

Отношение А. Солженицына к "рубилровке" и другим "полям страха", излучаемым симпатичными ему генераторами, — одна из реалий этого противоречия. Шабаш партий, вроде хаоса 1917 года, который привел страну к тоталитарной стагнации, куда больше отталкивает его, чем хорошая, то есть достойная, в его глазах, уважения и доверия, авторитарность. Отсюда и симпатия к чеченам, способным без колебаний защитить себя кровной мезтью. Отсюда и восхищение вождем Кенгирского восстания Слученковым, от которого А. Солженицына не отвращает даже угроза публично сечь своих товарищей-зеков за распространение провокационных слухов. Отсюда и картина грядущей выздоравливающей России как сильной высоконравственной моноидеократии. Но всякая монархия — коварный строй.

Авторитаризм иногда, действительно, помогает обществу выйти из тупика, однако, от этого он не перестает быть феноменом двусмысленным и социально опасным. Приемлемый, как переходный режим, в качестве некоей преддемократии, он, окостенев, заводит общество в тупик бесправия. У общества нет от него легальной защиты. Но А. Солженицын и не привязан к интеллигентскому фетишу демократии. Интеллигенция сейчас для него вообще разлагающее начало. Все, что от нее, то от лукавого. От нее исходили революционные лозунги XX века, которые принесли России неисчислимые беды. Ненависть к диктатуре и антипатия к интеллигенции, спровоцировавшей революцию — мать диктатуры, переплетаются и определяют новую революционность. При этом из небытия воскресает эсеровский термин "боевики", а интеллигентской революционной демагогии противопоставляется некая... простонародная пугачевщина.

В одном из последних своих интервью* А.И. Солженицын говорит:

Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: Дайте нам права! То есть: Отпустите заземленную руку! Ну, отпустят или вырвем — а дальше? Вот тут на демократическом движении и сказывается незнакомство с новой русской историей. Они, по сути, обходят все

* Интервью в Вермонте, США, корреспонденту Би-Би-Си И.И. Сапитсу. "Посев" № 4, 1979.

уроки нашей истории как небывшие. И по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля, а это — гибель.

Вопрос — "а дальше?" — наиболее актуален. Но, во-первых, если "отпустят или вырвем", это уже великое дело. Не ради ли куда более урезанных прав гибли кенгирцы в своем безнадежном восстании? Во-вторых, "повторение Февраля" — только в том случае гибель, если новая власть опять окажется не в состоянии твердой рукой, на небольших скоростях ввести страну в русло стабильной демократической правовой ситуации.

Порок демократии отнюдь не в переизбытке прав личности, а в их, как ни странно, недостаточной защищенности. Если в условиях диктатуры право заменено произволом диктатора или олигархии, то есть исключительной властью лица или одной группы, то в условиях демократии законопослушная личность часто бывает недостаточно защищена от произвола и насилия со стороны асоциальной личности или каких-то союзов. Демократию должно и можно совершенствовать, борясь против таких искажений ее главных принципов. Право не может быть преимущественным и избирательным, иначе оно синоним бесправия.

Проблема доносительства — проблема нравственная. Но, как ни странно, эта "внутренняя" для человеческого сознания проблема теряет свою остроту там, где торжествует "формальная", "внешняя" категория демократического конкурентного Права. В зонах же бесправия, больших и малых, количество неизбежно переходит в стукачество — такова уж диалектика произвола.

Человечество выработало в своей реакции на всякое преступление только один более или менее удовлетворяющий наше нравственное чувство подход: общие критерии — в виде законов и кодексов, плюс конкретизирующие приемы — в виде следствия и гласного судебного разбирательства, состязательной борьбы сторон — с правом обвиняемого на защиту и самозащиту. Без объединения того и другого — какой же может вдруг зазвучать "гонг справедливости"?..

**Петр ВАЙЛЬ****Александр ГЕНИС**

СТАЛИН НА ЧЕГЕМСКОМ КАРНАВАЛЕ

Фазиль Искандер прожил пятьдесят лет, так что по абхазским понятиям его смело можно назвать молодым человеком.

Нас — тем более. Но знаем и любим Искандера мы уже много лет, а кажется — еще больше. Мы читали его рассказы "Дерева детства" и "Времена счастливых находок" — светлые, как запах магнолии, терпкие, как "Ахашени", легкие, как дым в горах. Веселились над ядовитым и блестящим "Созвездием Козлотура". А когда сперва в "Новом мире", а потом и отдельной книжкой вышел "Сандро из Чегема" — это было наслаждение. И только уехав из Союза, мы узнали, что надо было и горевать над "Сандро". Оказалось, что Искандер написал совсем другую книгу — ту, что издал "Ардис" Карла Проффера. Потому что в ней не 240 страниц корпусом совпосовских, а 600 петитом — то есть больше почти в четыре раза.

Эту книгу глотаешь, как приворотное зелье, и вдруг ловишь себя на гортанном акценте, и все вокруг пахнет, как улицы Сухуми — мандаринами, морем и кофе. И пристаешь

с разговорами к знакомым, и идешь в магазин за кукурузной мукой, и заставляешь жену варить мамалыгу, а она не умеет — да и откуда?! Хочется не жить в Нью-Йорке, хочется быть седым и стройным, стоять с тяжелым рогом на зеленой траве и говорить прекрасные тосты за Искандера, за Чегем, Абхазию и мичиганское издательство "Ардис"*.

Хочется написать "Изабеллой", но "Изабеллы" нет, и хочется плакать.

Как говорят чегемцы: "Эх, время, в котором стоим"...

ВЗРЫВАЮЩИЙСЯ ЭПОС

Эпос умер давно. Когда письменность нашла литературу, эпос уже был старым, зрелым жанром. Перекочевав из устной речи в письменную, он просуществовал еще больше тысячи лет и скончался, родив национальные литературы. Его пытались оживить, мистифицируя (Макферсон) и стилизуя (Шарль де Костер). Но невозможно вернуться в детство. Нельзя написать ни новую "Одиссею", ни нового "Сида", ни даже новую "Войну и мир".

И все же Фазиль Искандер создал нечто такое, что с первого взгляда очень похоже на эпос. Есть в "Сандро" черты, которые роднят его абхазцев с ахейцами и калеваловскими финнами.

Прежде всего, герой Искандера — народ. И совсем не в том, идиотском смысле, в котором герой всегда народ, будь это "Слово о полку Игореве" или "Судьба человека". Народ в "Сандро" — это племенная стихия, еще не осознавшая себя нацией. Абхазцы, с обычаем вместо конституции и кровной мстостью вместо милиции, не фон романа, а плоть его. Их "я" еще не индивидуализировалось до космополитической дихотомии личности и Бога. У них — "мы и Бог". Кентавр Искандер, русский абхазец советской эпохи, как и положено кентавру, тоскует по своей "племенной" половине. Из этой тоски происходит эпическая поэма "Сандро из Чегема".

Народ, не расщепленный на личности, архаичный по своему сознанию, есть фигура, несомненно, эпическая. И как у каж-

* Фазиль Искандер. Сандро из Чегема. "Ардис", США, 1979, 604 стр.

дого эпического народа, у них есть герой — Сандро (о том что *он* все-таки не Ахилл, речь пойдет ниже). Богатырь, великан, демиург эпоса — существо необычайное, но при всех своих невероятных статях, истинно народное. Его достоинства — всегда утрированные черты заурядного соплеменника.

Сандро — богато одаренный абхазец, но абхазец. Как и положено эпическому герою, он не противостоит среде, а лишь высовывается из нее, всегда готовый раствориться в родном племени. В принципе, любой персонаж книги может перерасти в героя. Поэтому так легко отпочковываются от "Сандро" целые главы — про Тали, Хабуга, Махаза. Все они могли бы стать притягательным центром повествования, и тогда был бы "Хабург из Чегема". Потому что эпос пишут о жизни, характере, мировоззрении не человека, а народа. Тут героем становится любой.

Но почему абхазцы? Как ответил герой одного рассказа Искандера на вопрос "Абхазия — это Аджария?" — "Абхазия — это Абхазия!" Но почему?

Семьдесят тысяч абхазцев живут на свете. Наследники Колхиды, они получили азбуку 100 лет назад и не успели создать настоящую письменную литературу. Запертые между морем и Кавказом, абхазцы протащили сквозь 2500 лет своей истории незамутненное родо-племенное восприятие мира. У них даже нет ни Корана, ни Библии. Есть обычай, мудрость стариков, голос крови — это их и государственные, и нравственные институты. (Точнее, так было.)

Абхазия — идеальный эксперимент по стыковке доклассового общества с бесклассовым, древней морали с моральным кодексом, архаического сознания с социалистической сознательностью. Искандер в Чегеме открыл не только кладь фольклора, но и социальный эксперимент, действующую модель общества. Теперь есть Абхазия географическая, историческая и искандеровская, в которой он раскрывает "значительность эпического существования маленького народа".

Как ни странно, искандеровскому миру ближе всего мир Фолкнера (во всяком случае, для русского читателя, не отягченного американскими ассоциациями). Чем Йокнапатофа не

Абхазия, а сага южанина Фолкнера не эпос южанина Искандера?

Фолкнеровская Вселенная — это не бальзаковский срез общества. Конечно, его Сноупсы, Юлы, Бенджи живут по социальным законам, но законы эти формируют не мифические социально-экономические категории, а древние условия необходимости общежития. Трагедия фолкнеровских героев заключается в разрушении эпически-постоянных связей между людьми, во взрыве личности, осознающей себя силой, которая противостоит пещерному единству. Социальная, традиционно монолитная структура эпического племени не выдерживает расщепления на миры-индивидуумы, поглощенные собственными, присущими им имманентно, страстями. Человек, по Фолкнеру, становится личностью лишь тогда, когда он крушит старые связи ради торжества своего не обремененного обычаем "я". Нарушив табу эпически воспринимаемого мира, герой может только погибнуть, но в смерти его будет торжество безнадежного бунта. Закат патриархального Юга — крах эпического единства мира, перелом от цельности к разобщенности, как колумбово яйцо, Йокнапатофа живет только в скорлупе хитроумной обтекаемости социума. Разбить скорлупу — и яйцо перестанет быть яйцом. Этого не учел ни гениальный мореплаватель, ни Кристмас из "Света в августе", ни советская власть.

Если фолкнеровская эпичность разрушается изнутри — бунтующей личностью, то абхазскую разламывает стихия фантастической социальной организации — советская власть. И фолкнеровский, и искандеровский эпос — эпос взрывающийся то есть переходящий в мир романа и всей новой литературы. Крах старого не может служить сюжетом Гомеру, но именно эта идея обслуживает словесность от Средневековья до XXV съезда.

Поэтому неизбежно тянутся к современности сюжетные нити у Искандера (в эпосе они так же естественно остаются в давно прошедшем). Сандро своим личным примером изображает конец эпоса и торжество романа. До большевиков жизнь двигалась по канонам племенного уклада, и Сандро

был героем эпоса (может, комического, но эпоса). Но вот пришла новая власть — и Сандро стал героем романа (может, плутовского, но романа). До 1917 года время, как до Рождества Христова, отсчитывается в обратном порядке, пребывая в эпической неподвижности. После семнадцатого оно стремительно движется в сегодняшнюю, газетную действительность, разменяв степенность "времени, в котором стоим" на хаос времени, в котором мечемся.

Так вырастает не очень понятное, но осязаемое жанровое объединение с оригинальным сюжетом — история эпически воссозданного народа, который, как Монголия, перепрыгивает из наивного и потому разумного родового строя в социалистический карнавал.

ДВА КАРНАВАЛА

Погрузившись в искандеровский мир, быстро ощущаешь свою растворенность в нем. Это потому, что главное его качество — естественность. Отношения чегемцев между собой и с Богом так просты, так добрососедски, что сравнимы только с Золотым веком, а социальная усложненность нашей современной формулы коммунизма так далеко уводит от руссоистской формы первобытного братства.

Как известно, главное в литературе — конфликт. В "Сандро" конфликт есть, но уж больно непривычно он выражен (или понятен). В самом деле, есть народ — есть чуждая народу система — организация жизни. В общем-то это материал для конфликта любого произведения. Например, "Поднятой целины". Но Искандер сопоставляет не объективные картины народного бытия "раньше и теперь", а проявления наиболее эфемерной и вечной стихии — карнавал.

Карнавал настоящий и карнавал искусственный, советский. Мы или нас.

Карнавал — это коллективное проявление этнической сущности. Карнавальное мироощущение отражает сознание, "дух" народа в естественных для него формах. Скоморох или Пульчинелла куда ближе к истинно народному взгляду на мир, чем

Толстой или Бальзак. Конечно, фольклорные виды искусства заведомо "народнее" профессионально-авторских. Все карнавализованные формы народного искусства построены на обязательном соучастии-импровизации. Уже частушка предполагает как минимум двух певцов, а масленица невозможна без поголовного участия. Отношения, возникающие при контакте в карнавальных празднествах, выражают древнейшие, первичные социально-нравственные устои. Карнавал как бы воспроизводит начальный комплекс понятий, из которых выработался и социальный этикет, и религиозный канон. Амбивалентность — то есть одновременное ругательство, смерть и рождение — вот народная основа карнавального мироощущения.

Двойственность, или, скорее, диалогичность — конструктивный принцип "Сандро". Искандер создает мир, в котором архаизм сохраняет карнавал от монологической современности. Чегем живет по "Естественному договору". Здесь все одушевлено. Труд не отделен от пищи, женщина от деторождения, хлеб от вина и жизнь от смерти. Карнавал охватывает все сферы жизни (он пародирует их) и потому становится идеологическим центром. Абхазское застолье — эпицентр духовного существования. В нем находит синкретическое выражение вся жизнь человека и его смерть. Поедание мамалыги становится ритуальным воспроизведением жизненного цикла, приобщением к круговороту природы. Тост тамады играет роль жреческого заклятия мировых сил. И, наконец, вино служит наградой человеку за тяготы труда. (Хотя и сама работа воспринимается как часть диалога с природой.)

В рассказе "Колчерукий", который просится в "Сандро", Искандер пишет о веселом обряде поминок — понятии сверхамбивалентном и карнавальном: "Когда умирает старый человек, мне кажется вполне уместным и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой".

Смерть в этом архаическом мире стоит в одном ряду со всем, что предназначено человеку, и поэтому она лишается

разрушительных качеств. Смерть всегда беременна новым рождением, а значит, карнавальна и естественна. Зная об этом, абхазцы уверенно занимают первое место в мире по числу долгожителей.

Искандеровский Чегем исповедует не ислам, а карнавал. С его древним анимистическим культом Земли и всего живого. Патетика круговорота природы наполняет смыслом будни и пиры. Ведь пьянство праздничного стола есть неотъемлемая часть ежедневного труда. Одушевленность каждого элемента мира ведет к осознанию человеком собственной значительности и необходимости. Чегемец даже в злой тоске не может воскликнуть: "Если Бога нет, какой же я штабс-капитан?" Человек настолько связан с окружающим, что он выполняет не свою волю, но общее предназначенье. Какие же могут быть вопросы?

В то место, где Баграт женился на прекрасной Тали, совершали паломничество чегемские пары, резонно ожидая, что кедр, благословивший одну пару чудесными детьми, не откажет и остальным. Один наш знакомый всегда спрашивал: "Какую погоду нам дадут сегодня?" Сколько, в сущности, интеллектуального изыска в наивной вере в справедливое распределение достатка и убытка. В то, что "не просите, сами дадут".

Да, но при чем тут Сандро? Основа карнавала — представление о круговороте, социальном кувырке. Как день сменяет ночь, а зима лето, так и король меняется с нищим. Отсюда в карнавалых празднествах обряд увенчания-развенчания. Последний мусорщик избирался бобовым королем. Его чествовали как самодержца, а потом бросали в навозную кучу. Дядя Сандро — несомненно, король в этой жизни-карнавале. Причем король профессиональный — лучший в мире тамада. Его царское величие бесспорно (оно настолько велико, что Искандер не решается изобразить его на бумаге, понимая беспомощность пера в сравнении с магией тоста). Но король он только до тех пор, пока длится застолье. За пределами пира его ждет неизбежная навозная куча. Сандро не вступает

в трудовой поединок с природой, оставаясь "присматривающим" за абхазским столом.

Чегемский карнавалыный образ жизни не был чегемцам назначен, ни даже посоветован. Он появился вместе с ними и растворен в их крови. Со дня рождения они знают, каким должен быть человек: работающим трудягой и пьяницей, сексуальным разбойником и танцором, кровавым мстителем и тамадой. И если он проживет жизнь в соответствии с тем, что ему положено как абхазцу и мужчине, смерть его будет победой над судьбой.

Такой застала Абхазию советская власть. Недоверчивые горцы долго колебались, но перейдя на сторону красных, убедились в их силе и своем правильном выборе. О том, что произошло дальше, пишет в статье "О карнавалыном характере еврейской истории" Илья Рубин. Он, наверное, первый увидел грустную природу советского общества в виде несмешного карнавала. "Воскресная праздничность карнавала обратилась в смертную тоску вечного праздника. ...Пародийно сниженные Ад и Рай материализовались на Земле Концлагерем и Заграницей. ...В царстве победившего карнавала восторжествовало трупное равенство продажности и чести, скептической духовности и тупой веры, гуманной строгости закона и распутства беззакония".

Искандер и его герои вынуждены жить в двух карнавалах сразу.

Карнавалызованный советский строй сразу стал гротескным. Осознав преимущество обряда возвеличивания шутов, социализм немедленно воспользовался им ("каждая кухарка..."), возложил на себя жестяную корону, но позаботился уничтожить амбивалентность. Увенчать можно, а развенчать...

С этих пор смешной карнавал стал терять чувство юмора и становиться мрачным шабашем. Праздник и застолье стали орудием борьбы и лозунгом. Пир не случался, а разрешался. Масленица и Иванов день превратились в 1 Мая и 7 Ноября. Взятие снежного городка заменилось военным парадом, а тосты теперь произносил только один человек, да и то по телевизору. Огосударствленный карнавал прибрал к рукам

карнавал народный и удовлетворенно заметил: "Жить стало лучше, жить стало веселей".

Каково же было наивным абхазцам, которые всю свою жизнь строили по амбивалентным законам "кто работает, тот и пьет", понять новую моноструктуру, в которой кто не работает, тот и заказывает музыку? Старый Хабург не хуже своего мула знал, что хлеб, труд, земля — слова одного корня. Каково ж ему было узнать, что в "кумхозах" эти понятия четко и навсегда разделились? А чтобы идолопоклонники не забыли правил нового карнавала, сюда высадили эвкалипты — отгонять малярийных комаров, которых здесь никогда не было. Невероятно высокие и бессмысленные стоят по всей Абхазии австралийские деревья памятником распавшегося карнавала.

Искандер старательно сравнивает два действия: снизу и сверху. От сохи и от Кремля. Два способа понимания жизни. Один — по естественным законам, объединявшим пир и труд. Второй — по искусственным, разделившим эти понятия и лишившим этим сладости оба.

По горам Абхазии ходят овцы. По горам советской Абхазии ходят "спецовцы", которые дают шерсть для "обыкновенных маршалских костюмов".

Абхазский охотник попадает в глаз белке. Абхазский стрелок парработник Нестор Лакоба попадает по яйцу, поставленному на голову повара из спецсанатория.

Когда умирает абхазец, его зарывают в землю, и нет ничего важнее обряда погребения. Ибо смерть в земле прорастает новым семенем. Когда умирает человек жертвой нового карнавала, не остается не только тела, но даже имени.

Когда пируют абхазцы... Да, когда пируют абхазцы, они совершают обряд причащения к Богу-природе мамалыгой и Изабеллой". Но когда пируют карнавальными шуты, тюрьмой и Сибирью заклявшие признание в том, что они карнавальными шуты, то и черная икра блестит машинным маслом, и коллекционное шампанское отрыгается выдохшейся сельтерской.

В конце книги Искандер, наконец, изображает долгожданный пир, который он застенчиво скрывал за эвфемизмом и

недомолвкой. Вот он: "Главное блюдо — молодая козлятина — дымилась на нескольких тарелках. Свежая мамалыга, копченый сыр, фасоль, сациви, жареные куры, зелень..." И все. Конечно, неплохо, но все равно больше похоже на утонченный "Пир пяти князей" Пиросмани, чем на картинку из "Книги о вкусной и здоровой пище" времен Микояна. Благодарная сдержанность стола должна придавать застолию ритуальный характер, а не уподоблять его нуворишской роскоши спецобедов.

На этом пиршестве Искандер свел двух антагонистов — осколок старого мира, карнавальная королева-тамада дядя Сандро, и представитель новой династии, герой-космонавт. И вот наследник нового, строитель будущего, наконец, получает слово, чтобы в тосте высказать кредо осуществленного впервые в мире карнавала. И он говорит: "Дорогие друзья, — лучезарно улыбаясь, сказал космонавт, — я хочу, чтобы за этим прекрасным столом выпили за комсомол, воспитавший нас..."

Вот он, символ веры, последнее слово, "Noli tangere meos circulos" Архимеда, "А все-таки она вертится" Галилея, "Мы пойдем другим путем" Ильича.

Старому карнавалу в лице хозяина-абхазца остается только спросить: "Уж не глуп ли он часом?!" — "Нет, их так учат, — по-абхазски строго поправил его дядя Сандро".

ВАЛТАСАР НА ЛОВЛЕ ФОРЕЛИ

"Сандро из Чегема" — роман-биография. Однако не классическая биография, где все начинается рождением, а кончается смертью центрального персонажа. В книге один за другим проходят эпизоды абхазского бытия, нанизанные (да даже и не всегда) на фигуру дяди Сандро. Эпизоды эти — исключительные моменты жизненного пути Сандро из Чегема. Выстроены они вовсе не по хронологическому принципу, которому чужд Искандер, а по логическому — так, чтобы определить окончательный образ человека-народа. И более того — предопределить характер его дальнейшего пути, его будущего.

И в самом деле: нетрудно, наверное, предположить, что дядя Сандро мог бы сказать о сегодняшнем дне, о том, что делается в Абхазии и всей стране, о преемнике Хрущита, преемника Большееусого? Да он и сказал — можно считать — за два абзаца до конца гигантской книги, глядя на Чегем: "Худшей корове коровник достался..."

А Искандер, словно торопясь, чтобы не поняли это слишком узко, не подумали, что речь идет о глупом Кунте и его вздорном брате, поясняет: "...Имея в виду всех умерших и покинувших Чегем, а также всех оставшихся в нем..." Ну да, имея в виду...

Итак, жизнь Сандро проходит перед нами некоей горизонтальной линией, координаты которой легко предскажутся, и лишь случаются всплески там, где что-то случается. Но логика случая здесь подчинена высшей логике. В какой-то степени книга Искандера построена по законам биографии, как ее понимал еще Софокл — то есть по законам судьбы — от вины до наказания.

Но чьей вины и чьего наказания? Сандро? Ничуть. Он является перед нами здоровым восьмидесятилетним и уходит здоровым восьмидесятилетним, ни на йоту не меняясь на ходу.

Грех и возмездие сопутствуют второму главному герою книги Искандера, для которого, как это ни странно, в определенном смысле дядя Сандро, занимающий так много страниц, служит фоном. Потому что этот второй центральный персонаж куда важнее для истории и Чегема, и абхазцев, которых семьдесят тысяч человек, и страны, в которой двести шестьдесят миллионов человек.

Этот герой книги Искандера — Сталин.

Сталин появляется в жизни Сандро на нижнечегемской дороге, отягченный грузом награбленного и грехом убийства семи человек, а завершают цепочку их примечательных встреч (завершают опять-таки не хронологически, а логически) слова не то Сандро, не то автора: "Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал пап-

ку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью".

Сандро и Сталин со всей полнотой выразили суть застывшего советского карнавала, обратившегося "в смертную тоску вечного праздника", представив собой две ипостаси карнавального бобового короля, увенчанного "понарошке", не по заслугам. Тяжелому, мрачному, кровавому обману Сталина противостоит веселый обман плута Сандро.

Вообще образ плута, хитреца, шарлатана возникает тогда, когда все общественные отношения переполняют подлость, ложь, лицемерие, обман. Тогда является носитель здорового начала — карнавальная плутовка — и начинает изрекать истины, кажущиеся обалдевшим от непрерывного вранья людям откровениями. Потому что всерьез такие мысли не протащить — это контрабанда, сурово карающаяся законом, а еще суровее — беззаконием. А плут — он, как сказал поэт, "дурак, но не мошенник".

Дядя Сандро закреплен в бытовой общественной жизни уже по определению авантюристически — он не пашет и не сеет, он — тамада. Ему чужды многие стороны жизни даже своих односельчан. Он даже ничуть не похож на трудягу — своего отца Хабугу или брата Махаза. Но он в этой жизни понимает все, он как бы пронизывает все ее слои, забираясь на такие высоты, которые не снились Хабугу и Махазу — благодаря каким-то подозрительным, с точки зрения здорового нормального абхаза, умениям. Умению по-особенному танцевать, например. В тосте за самым представительным столом ему позволено сказать такое, что другому и не подумать — он тамада. Единственная трудовая его мозоль — жировая складка на шее. "Думаешь легко быть вечным тамадой", — ответил он и еще сильнее запрокинул голову, показывая, что когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении".

Сандро имеет право плута и якобы простака не понимать — того, чего не хочет. Он идет по жизни, как Пьер по Бородинскому полю, и вполне может потормозить какого-нибудь занятого человека неотложным вопросом или высказать пришедшую в голову мысль. Он успокаивает автора (подразуме-

вая "будь, как я"): "Если ты что-то не так написал, ...мы подскажем. Например, так: "Глуповатый, но правительство любит".

И поди подкопайся, когда он рассуждает о так называемых "злоупотреблениях периода культа личности". "...Социализм происходит снаружи, а это было внутри. ...Социализм — это когда строят чайные фабрики, заводы, электростанции. И это всегда происходит снаружи, а Лакоба стрелял внутри, в зале санатория. Как это одно другому мешает?"

И вправду — никак. Шестьдесят лет уже не мешает.

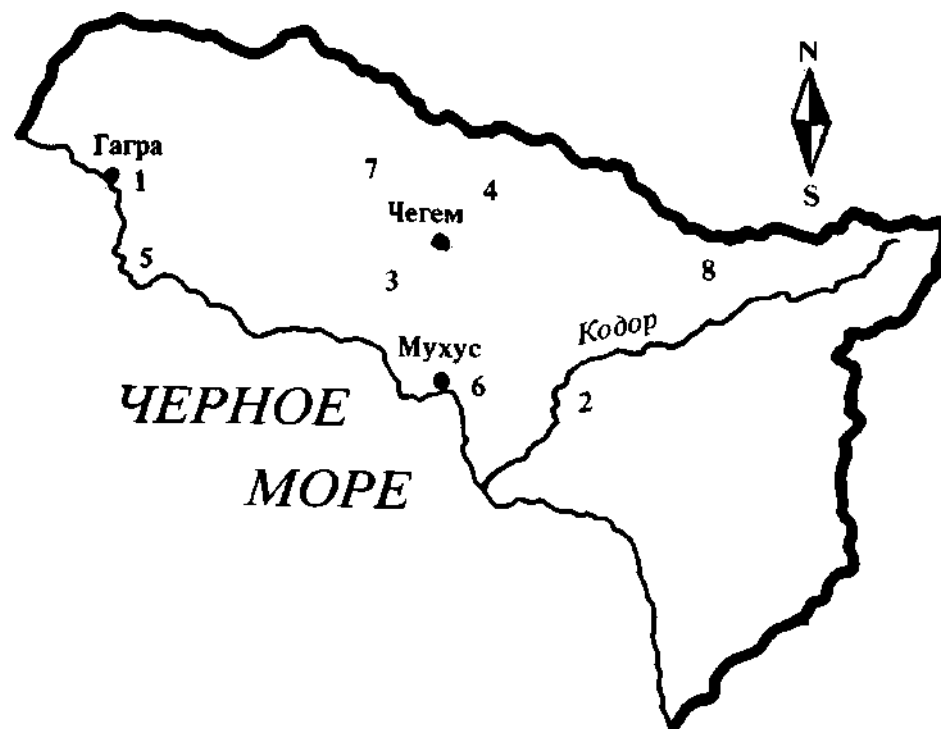
Шестьдесят лет уже идет в стране жизнь понарошке, наоборот, а возврат к нормальным человеческим отношениям стал карнавальным вольностью. Катастрофический антагонизм архаического народного сознания и власти пронизывает все общество в целом и книгу Искандера.

С одной стороны, — эпическая фигура Баграта, с другой — Шалико. Половой гигант Баграт заполняет "чадотворящую форму" Тали со страстью, доступной раблезианским героям, оставляя на месте их первого свидания (что ли) клочья одежды и кустов и превращая его в место паломничества. Завмаг Шалико, жулик и воришка (в отличие от работяги Баграта, который горазд и работать, и есть, и любить), залезает в постель к своей невинной родственнице тайком, пока в отъезде жена. И архаика мстит ему за подлог, за подмену чувств и страсти похотью — когда приезжает отец обесчещенных девушек Махаз, чтобы зарезать Шалико, и конечно же, перерезает ему горло. Потому что иначе нельзя жить, потому что нельзя жить в позоре.

Когда-то крестьяне перед посевом катали по вспаханному полю священника — сохраняя полный пиетет к нему, да и он был не в обиде — чтобы лучше был урожай. А Мао Цзе-дун погружается в Янцзы и плывет, беседуя с трудящимися о будущих урожаях в сельском хозяйстве и производительности в промышленности, побивая при этом все мыслимые рекорды скорости и дальности заплывов — так, что председатель Международной федерации плавания, австралиец, посылает ему приглашение на ближайшую Олимпиаду. А студенты

АБХАЗИЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ —
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР



- 1 — Встреча Сандро с принцем Ольденбургским
- 2 — Битва на Кодоре с деревянным броневиком
- 3 — Первая встреча Сандро со Сталиным на Нижнечегемской дороге
- 4 — Каштановая роща, которую Сандро продал Самуилу
- 5 — Санаторий, в котором стрелял Лакоба
- 6 — Здесь Махаз выпил кровь Шалико
- 7 — Кедр Баграта
- 8 — Сталин на ловле форели

физкультурных институтов пишут курсовые и дипломные работы на тему "Ленин и спорт", из которых явствует, что Владимир Ильич любил в Швейцарии и Польше прогуливаться по горам, делая по семьдесят и более километров в день.

В картине Брейгеля "Битва масленицы с Великим постом" карнавальный король едет, увешанный утварью и побрякушками, довольный и счастливый среди хохочущего радостно народа. А в нашей стране генсек, окончивший войну генерал-майором от политработы, вдруг оказывается награжденным шестьдесятю боевыми орденами — в то время как (по подсчетам А. Авторханова) фактический главнокомандующий маршал Жуков — сорока шестью. И в этом виде генсек на холсте работы Ивана Пензова повисает в вестибюле Третьяковской галереи, предворяя полотно Рублева и Врубеля.

Вообще, образ бобового короля на престоле самой сильной в мире державы проходит логически стройные этапы. Все они оказались во главе этой самой державы случайно, не по личным заслугам: и зловещий убийца Сталин, и "волюнтарист" Хрущев, который был слишком комичен со своей кукурузой и башмаком на трибуне ООН; и, наконец, Леонид Ильич Брежнев, воплотивший в себе всю амбивалентную сущность шутовского короля — он-то несет картофельные медали с полным достоинством и серьезностью.

Пару раз в год по всей стране вспыхивают экраны телевизоров, и перед глазами миллионов к столику с кривыми золочеными ножками во Владимирский зал выкатывается кучка очень пожилых людей. Один из них — а все очень похожи — берет в руки бумажку, в то время как другой со скромностью, украшающей большевика, становится в сторонке (этот — всегда один и тот же). Потом, под слабые аплодисменты обессилевших на партерной работе людей, вынимается Золотая звезда, шашка в ножнах, Ленинская премия по литературе, комсомольский билет № 2 или что-нибудь еще, столь же необходимое в быту генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза.

До Брежнева в книге Искандера не доходит, но в силу той самой предсказуемости, о которой шла речь выше, его образ

маячит за фигурой Сталина. Ибо жизнь не меняется принципиально, и если "Сталин — это Ленин сегодня", то и Брежнев — это Сталин сегодня. И счастье русского и несчастье камбоджийского народа, что два с половиной миллиона человек убили в Камбодже, а не в Восточной Сибири.

Сандро — тамада. Сталин — Великий тамада.

Сандро — карнавальный король, которого ждет развенчание, когда последний гость свалится под стол. Сталин — карнавальный король, который никогда по-настоящему и окончательно не будет развенчан, даже когда последний его подданный свалится с пулей в затылке. Даже когда свалится он сам. В этом кошмарное постоянство советского карнавала. Да, говорливый шустрый Хрущев с трибун XX и XXII съездов может, вроде бы, и развенчать своего предшественника. Может произойти и вовсе карнавальное действо: Сталина вынесут из мавзолея, с карты сотрут города его имени, заработает Министерство Правды, вычеркивая его имя из учебников и подшивок газет. Но пройдет еще немного лет, и всерьез заговорят о возрождении сталинизма, начальники отделов кадров и первых отделов вслух будут орать: "Сталина на вас нету!", бабки завздыхают в очередях: "Был при Усатом порядок!"... Нет, никогда не будет развенчан Сталин — бобовый король карнавала, которому не видно конца.

Сандро — плут, могущий сказать правду среди общей лжи. А Сталин? Сталин — плут?

Как-то жутковато употреблять это слово, говоря о человеке, при котором уничтожены десятки миллионов людей. Но искандеровское настойчивое соотнесение двух главных героев заставляет задуматься. Разница в плутовстве и шарлатанстве — не только в масштабах: продать чужую каштановую рощу или продать свою страну (Гитлеру). Сталин тоже говорит правду. Но — директивную. Точнее — ложь, которая становится жизненной правдой миллионов, которую попробуй, не признай за правду, попробуй, не поверь. "Жить стало лучше, жить стало веселей". И значит, так и есть — какие сомнения!

В блистательной главе "Пирь Валтасара" есть примечатель-

ный эпизод. Абхазский лидер Нестор Лакоба произносит тост за скромность вождя, который не захотел принять бесплатно мандарины в подарок, обещая отдать с первой полочки. И довольный Сталин вдруг говорит правду, позволенную только ему, увенчанному шутами шутовскому королю: "Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, ...народ сажал..." — "Народ сажал", — прошелестело по рядам. "Народ сажал", повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение".

Искандер проводит Сталина по жизни Сандро (или наоборот!), сталкивая их в ситуациях, чреватых смехом и смертью.

Молодой Сталин мог убить маленького Сандро на ниже-чегемской дороге, и его дьявольская натура так, видно, и не простила себе того, что не убил. А его дьявольское чутье мучительно пыталось высмотреть во взрослом Сандро того подростка-пастушка — и на пиру у Лакобы, и во время ловли форели на горной речке.

Там, на речке, было почти совсем не страшно. Сталин даже шутил: "Кушайте цыплят, а то они вырастут". Сталин даже подарил Сандро кальсоны, что и спасло, по убеждению Сандро, абхазский народ: он понравился Сталину, и абхазцев не стали выселять, хотя эшелоны стояли уже наготове. А если б Сандро не промочил кальсоны, а если б не понравился Сталину?

Лакоба стрелял на пиру по яйцу на голове повара, и это было смешно. А если бы попал чуть ниже?

Сталин на рыбалке спросил Сандро: "Где я тебя видел, рыбак?" А если бы вспомнил?

А если бы... Сталин вдруг забывается в разгар пира, и вот снова то видение. Он едет на арбе, везет виноград в давальню. Он — не в юности, а такой, как сейчас. И приехавший гость из Кахетии разговаривает с соседом, и сосед говорит: "Это тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина... Хлопот, говорит, много, и крови, говорит, много придется пролить".

Хождение по жуткой грани, единство страшного и смешно-

го, скрещение действительного и желанного, невозможность недостижимого — под таким знаком проходят встречи Сталина и Сандро. И фон, который дает Сандро, выказывает все злое черты плута-тирана, воровски захватившего власть над душами и телами.

Искандер, что не часто случается с ним, резюмирует: "...То, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы.

Человеку дано стать палачом так же, как и не дано становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда бы обратилась эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами, и ответственность за выбор — тоже".

Пики-эпизоды, по которым строится искандеровское повествование, неумолимо ведут одного из двух главных героев книги — Сталина — от вины к наказанию. Это так. Но выбор, как и у всякого человека, за ним самим. Поэтому не может быть Иосифа Джугашвили, не захотевшего стать Сталиным, а есть Иосиф Сталин.

А рядом — не становящийся, а сущий человек, без причинно-следственной судьбы, как и полагается эпической фигуре, хранитель традиций, истинный карнавальный король, тамада — Сандро из Чегема.

* * *

"Сандро из Чегема" — прозрачная книга. Ее не ощущаешь продуктом типографского производства: ей больше бы подходила устная жизнь. Как Ходже Насреддину. Нет сопротивления материала, нет напряжения чтения. И отсюда приходит неблагоприятная несправедливость: за книгой не видно автора.

Живопись XVIII века была немыслима без лессировки, того последнего глянца, который скрывал мазок, след человека в божественном произведении искусства. Искандер не прячет-

ся за дела своих героев, просто он сам ощущается одним из них (так в общем-то и есть). Впечатление такое, что "Сандро" не написан, а записан, как тот же "Насреддин".

Это неправда. Фазиль Искандер с таким же правом, как и Фолкнер с его Йокнапатофой, может поставить под картой Абхазии свое имя в качестве единственного хозяина.

Нет никакого Чегема, Мухуса, Эндурии. Все выдуманно в этой абхазской Швамбрании. И все герои, населяющие эту плодородную страну, — плод фантазии, может, последнего писателя-реалиста.

К концу книги Искандер устал от своей невидимости. Все чаще за веселым и наивным образом автора начала "Сандро" появляется грустный утомленный московский писатель, который знает, что он написал прекрасную книгу, несущую ему кучу бед. И еще он понимает, что как ни хорош родной мир Чегема — его больше нет, а, может, никогда и не было. Все дальше уходит в прошлое золотой век, все больше похож на живой анахронизм дядя Сандро, и некуда пойти, и некому сказать...

Все множит и нанизывает дорогие воспоминания Искандер. Все пробует своего любимого героя в новом застолье. И все боится, чтобы за здоровяком Сандро не замаячила тень забытого Фирса.

Эпос не мог быть ни веселым, ни грустным — ведь он был единственной истиной, то есть, какой есть. Плутовской роман не мог быть трагичным — для этого он был слишком циничен. Жанровая мешанина "Сандро из Чегема" — обращается в невеселую драму "Вишневого сада" (которая тоже называется комедией).

Причины грусти веселого Искандера очевидны. Какой уж тут сад, какое дворянское гнездо, — не оставят и коровника...

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 год издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В этом номере мы предлагаем читателю воспоминания Соломона Цирюльниковца, бывшего секретаря Общества советско-израильской дружбы. Редакция во многом не согласна как с общей позицией автора, оставшегося и по сей день левым социалистом, так и с его оценками ряда событий и действующих лиц истории. Вместе с тем, предлагаемые воспоминания, безусловно, подкупающие своей искренностью, не могут не вызвать интереса у читателей, ибо показывают не только развал коммунистического движения в Израиле, но и неизбежное крушение тех, кто связал с ним свою судьбу.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ИСПОВЕДЬ НА ПЕПЕЛИЩЕ

Из воспоминаний бывшего секретаря Общества советско-израильской дружбы

ГИТЛЕР ИЛИ СТАЛИН

Шел 1938 год. Над Европой сгушалась ночь, как многие тогда уже понимали, Мюнхен мог иметь только одно значение. Правительства западных держав пошли на сговор с Гитлером для того, чтобы направить его армию на Восток, на Советскую Россию.

Наступило время размывания промежуточных позиций, резкого размежевания фронтов. Не только для левых социалистов, но и для подавляющего большинства социалистов и демократов было ясно, что все, кому дорога свобода, должны будут оказаться в одной упряжке с Советским Союзом, Ему предстояло принять на себя главный удар и вступить в решающий поединок с нацизмом. Пробил час решения: Гитлер или Сталин.

Принять такое решение было не просто. В Москве шли один за другим процессы, которые ложились позорным пятном на советский режим. Процессы вызвали протест и раздвоение души. Выбор осложнялся неожиданным соглашением

Риббентроп-Молотов, а затем Финской кампанией, разделом Польши между Германией и Советским Союзом.

Все это рождало в людях метания и раздвоенность, однако, любое из этих событий выглядело второстепенным в сравнении с предстоящей схваткой между Германией и Россией. Угроза войны, которая, возможно, охватит весь мир и в которую еще недавно не верили, не казалась более нереальной.

Теперь, сорок лет спустя, трудно себе представить атмосферу того времени. Однако, совесть требует от каждого из нас, пережившего те дни, оглянуться назад, оценить себя и свои поступки трезво и беспристрастно.

Стремление оправдать себя и даже возвысить в собственных глазах всегда было присуще человеку. За моей спиной большая жизнь и, может быть, путь этот сложный и противоречивый помогает мне понять, что высший дар человека не гордыня, а смирение. Так вот сейчас, вспоминая прошлое, перед лицом сложных и неоднозначных событий я молю Всевышнего, чтобы этот высший дар — скромность и смирение — не обошел меня.

21 июня 1941 года. По радио передаются еще непроверенные сообщения о немецкой бомбардировке советских пограничных областей. С каждым часом нарастает тревога: германские моторизированные части вторглись на территорию Советского Союза, началась война.

Помню, как охваченный тревогой, я оставил работу, придя домой, прильнул к приемнику. Можно ли передать современному читателю это волнение и тревогу тех дней? И еще, эту решимость — занять свое место в борьбе против Гитлера и его полчищ, вторгшихся в Советский Союз.

Конечно же, это был уже реально существующий, а не идеальный СССР, вождем которого был Сталин со всеми его качествами, но как трудно было провести грань между Советской Россией и Сталиным. Становясь на сторону Советского Союза, ты становился на сторону Сталина. Иного выбора не было.

Тогда я принадлежал к небольшой группе социалистов-

интернационалистов. В ее рядах, еще до этого времени, велись жаркие споры об отношении к Советскому Союзу, к процессам, к террору Сталина.

Должен сказать несколько слов об этой социалистической группе, которая создалась в результате нашего исключения из партии МАПАЙ* в 1932 году. Очень скоро после приезда в Палестину, это было в 1928 году, я вместе с товарищами создал оппозиционную марксистскую группу внутри израильской рабочей партии Ахдут Авода**. Идеологически мы принадлежали к марксистскому лагерю, а политически ориентировались на сионизм, который признавал диаспору, как неизбежный факт еврейской истории и, с другой стороны, выступал против господства евреев над арабами в Палестине.

Исключение этой оппозиционной группы (которая называлась "Социалистические Записки", по имени издаваемых ею брошюр) произошло при довольно драматических обстоятельствах. "Суд", перед лицом которого мы предстали, состоял из трех человек: Д. Бен-Гурион, будущий первый глава правительства Израиля, И. Шпринцак, будущий первый председатель кнессета и З. Аранович (Аран), будущий министр просвещения.

Суд вылился в ряд острых дискуссий. Каждое заседание затягивалось до полуночи и заканчивалось в большой спешке, так как Бен-Гурион спешил на последний автобус, чтобы попасть домой. Предметом этих дискуссий было отношение между социализмом и сионизмом, с одной стороны, и отношение между диаспорой и Палестиной, как будущим еврейским национальным центром — с другой.

Бен-Гурион был бескомпромиссен: евреи должны составить большинство Палестины, без этого не может быть сионизма. Для меня же сионизм переставал быть реальностью, если он сбрасывал со счетов арабское население.

* МАПАЙ — рабочая партия, ставшая впоследствии правящей партией.
**Ахдут Авода — социалистическая рабочая партия Палестины, созданная в 1919 году.

ДВА ЯЗЫКА - ДВЕ КУЛЬТУРЫ

Нескончаемые идеологические дискуссии, которые мы иногда вели, даже стоя в дверях, не могли, конечно, привести к примирению противоположных позиций: чисто национальный подход столкнулся с интернационалистским. Бен-Гурион был, как всегда, решителен, однозначен и непоколебим.

Мне приходилось встречаться с Бен-Гурионом и до этого. Его облик великолепно запечатлелся в моей памяти. Помню, сразу же по приезде в страну я встретил своего друга, находящегося здесь с двадцать четвертого года, и он-то первым делом и повел меня знакомиться с вождями рабочего движения Палестины. Мы побывали у Рубашова, будущего президента Израиля, у Голомба, стоявшего тогда во главе Хаганы*. Поехали специально в Моцу — тогда это был единственный дом отдыха в стране, чтобы встретиться с Берлом Кацнельсоном, духовным и идейным вождем трудовой Палестины.

С ним у меня состоялась длительная беседа (говорили мы на русском языке). Кацнельсон убеждал меня вступить в кибуцное движение или хотя бы в ряды сельскохозяйственных рабочих. Они были элитой рабочего движения страны. Я же, приехав сформировавшимся марксистом, на это согласиться не мог.

Еще в России, в Москве, я познакомился с двумя другими вождями еврейских рабочих в Палестине. Это были делегаты, прибывшие на съезд советской кооперации Д. Ремез, ставший потом секретарем Гистадрута и министром в правительстве Бен-Гуриона, и Л. Школьник (Эшкол), возглавивший впоследствии правительство Израиля. Это знакомство закончилось конфузом. Я пришел к ним в один из московских отелей в качестве начальника Главного штаба национального "Ашомер Ацаир"**, кем был я в то время. Как они увидели у меня

* Хагана — военная организация самозащиты еврейского населения в Палестине.

** Ашомер Ацаир — левая организация еврейской молодежи, создавшая сеть кибуцов в Палестине.

подпольные сионистские издания, то настолько перепугались, что тут же попросили меня удалиться.

Бен-Гурион, Берл Кацнельсон, Леви Эшкол... Это была блестящая плеяда людей, которые органически сочетали в себе высокую духовность с практическим организаторским талантом. Едва ли какое-либо рабочее движение в мире имело такой тип вождей. Впервые с Бен-Гурионом я встретился в "Красном доме" Гистадрута, вскоре после своего приезда в страну. Он принимал небольшую группу новоприбывших. Бен-Гурион был одет в куртку военного покроя, носил кожаные гетры на ногах, и вся его фигура, высокий лоб и резкий, упрямый подбородок говорили о его решительности и непреклонности. Про себя я тогда его сравнил с Робеспьером, но только не французской, а израильской революции.

С тех пор прошло более пятидесяти лет, и невозможно восстановить содержание нашей беседы, но одно врезалось в мою память: "Входящий сюда, сказал Бен-Гурион, да оставит смерть за своей спиной". В этих словах я уловил глубокий метафизический смысл: народ, обреченный на убиение.

Прошло лишь полтора года после этой встречи, как вспыхнули кровавые события 1929 года. Я работал тогда в центре Яффо, бывшего в то время чисто арабским городом. Почувствовав назревающие волнения, мы ушли, оставив город в последний момент. Вспомнилось убийство Бренера — известного еврейского писателя — в Яффо, во время кровавых событий 1921 года. Кажется, тогда я впервые почти физически ощутил свою слитность с Израилем, революцией его народа, оказавшегося лицом к лицу с почти средневековым арабским миром, легко поддающимся религиозному фанатизму и ксенофобии. Кажется, именно тогда я еще больше укрепился в своем мнении: главное предназначение Израиля, а может быть, долг его народа — сеять разумное, нести культуру и цивилизацию на Ближний Восток.

Возможно, эти мои мысли и были поводом для другой моей встречи с Бен-Гурионом. Он был, пожалуй, единственный из вождей сионизма, кто был серьезно обеспокоен событиями 1929 года, лихорадочно искал выхода, где только мог,

в том числе и в соглашении с арабами. Это в те дни Бен-Гурион произнес свои знаменитые слова: "Мы взорвем Британскую империю". Слова эти, не имевшие никакого реального подкрепления, тем не менее выражали его неукротимую волю к независимости Израиля. Бен-Гурион уезжал в Америку, и мы, я и мой товарищ по интернациональной группе, предварительно договорившись о встрече, пришли к нему домой, надеясь найти общий язык.

Когда мы вошли, было шумно, мы попали к обеду. Пришлось немного подождать в соседней комнате, которая была заставлена чемоданами и саквояжами. Шли упорные слухи, что его отправляют подальше, чтобы успокоить его нервы. Впервые я видел Бен-Гуриона в замешательстве, с блуждающим взглядом. Он нервничал, по-видимому, не находя ответа ни на один из мучивших его вопросов. Не получили ответа и мы, когда затронули волнующие нас проблемы: о соотношении сионистского и интернационального рабочего движения.

Уже на закате его жизни нам пришлось встретиться еще раз при совсем непредвиденных обстоятельствах. Это было в шестидесятые годы. Над Израилем нависла гроза, разыгралось нашумевшее дело Лавона, бывшего тогда секретарем Гистадрута, а прежде министром обороны Израиля. Бен-Гурион был втянут, против его воли, в сложнейшие перипетии этого дела и оказался мишенью безжалостных атак объединенного фронта "поборников демократии", требовавших расследования так называемого дела "каирских узников". По их утверждению, именно к Бен-Гуриону вели нити этого дела, в результате которого в плен к египтянам попала группа израильских разведчиков.

Как это ни странно, я и мои ближайшие политические друзья были противниками этого похода, считали его следствием общей усталости народа, пережившего тяжелую героическую эпоху, и поход "поборников демократии" мог только расшатать общественно-моральные устои, на которых зиждилась рабочая гегемония в Израиле.

Я и мой, теперь уже покойный, друг биохимик Бзжоза обратились к Бен-Гуриону с письмом, в котором советовали

ему устранился от дела Лавона, чтобы убрать этот, как нам казалось, "смердящий труп" со своей дороги. Его ответ не заставил себя ждать. Бен-Гуриона нисколько не пугало, что обращаются к нему его давнишние политические противники. Он верил в искренность нашего обращения, но совета — не принял. Мне кажется, что не в его правилах было вообще принимать чьи-либо советы.

Это — добавочная глава к рассказу о жизни, без нее невозможно понять моего пути, который почему-то никогда не сливался с общей дорогой. Почему так получалось — не знаю. Могу только сказать, что мое слияние с новой страной и культурой имело свои особенности. Из юноши, впитавшего в себя духовные основы русского просветительства, воспитанного на идеях Белинского и Добролюбова и, конечно же, Плеханова, громившего беспощадно народничество Лаврова и Михайловского, я превращался в человека совершенно иного психологического облика, кующего своим трудом будущность своего народа.

Помню, как в свои 22 года я мучился, страдая от затянувшейся на целую зиму бессонницы и не находя ответа на вопрос, столь волновавший кружок Белинского-Грановского, что должно значить утверждение Гегеля о том, что: "Все действительное — разумно, все разумное — действительно". Муки эти ушли в прошлое вместе с молодостью. В Палестине все это было ни к чему. Здесь требовался самозабвенный буднич- ный труд во имя строительства своего национального дома.

Я люблю и высоко ценю лапидарность, нежную суровость и первозданность иврита, ставшего еще с библейских времен языком гор и долин, языком страны, где ступали пророки Израиля, неся свой благовест своему народу. Но и великий, могучий русский язык вызывает в моем сердце живой и глубокий отклик.

Не знаю, является ли мой пример удачным; до сих пор я остался человеком двух языков и двух культур. В моей душе уживаются и непоколебимая верность призыву "быть свободным народом в своей стране", и великая российская вера в "дум высокое стремленье".

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

Однако вернемся к исключению нашей группы из МАПАЯ. Это был не суд, а судилище, за спиной которого стоял уже упомянутый Берл Кацнельсон, который в специально подготовленном им докладе "рисовал на стене дьявола".

В докладе, представленном Б. Кацнельсоном, политическая платформа нашей группы, призывавшая к сотрудничеству с арабами, была квалифицирована как отступничество. Я никогда не был отступником. Вот уже свыше пятидесяти лет я исповедую веру в свой исторически оправданный и рациональный сионизм и чем дальше, тем больше убеждаюсь в его правоте. Рационализация сионизма — трудное дело, но необходимое.

Я бесконечно благодарен судьбе, что уже в молодом возрасте оказался в Палестине. Очень возможно, что оставшись в России, я потерял бы, как многие другие, свое национальное лицо и превратился бы в человека, не помнящего родства. А это — самое худшее, что могло бы со мной случиться.

Всякое политическое движение имеет, по-видимому, пред- назначенный час выполнения своей миссии. Так было и с союзом социалистов-интернационалистов. Свой интернациональ- ный долг он видел в том, чтобы с момента вторжения гитле- ровской Германии в Советский Союз развернуть массовое движение солидарности с ним. И эта инициатива нашла, в конце концов, широкий отклик в стране. К тому времени и в Европе, и в других частях мира ширилась борьба с нацизмом, движение, имеющее глубокие корни в народе (правда, с ши- роким участием коммунистов), но не имевшее ничего обще- го, как говорили потом, с "рукой Москвы". Таким было французское Движение сопротивления, партизанское Движе- ние Югославии. Таким стало и наше Движение солидарности с Советским Союзом в Палестине.

С этого момента я посвятил себя всецело организации и сплочению этого Движения.

Начались длительные переговоры с разного рода политичес- кими партиями и группами. Вначале на наш призыв откликну-

лась только одна политическая группировка, впрочем, не обладавшая большим политическим весом. Это — левые рабочие сионисты (Поалей Цион). Остальные явно опасались коммунистического подвоха.

Так была организована Лига помощи Советскому Союзу в войне. На первых порах был создан общественный комитет помощи, в котором приняли участие видные общественные деятели и люди из мира искусства, — профессор Д. Шор, Хана Ровина, доктор Мандельберг и другие. Все они испытывали непрекращающееся давление разных политических групп, предостерегавших их от "коммунистических маневров". Помню, как однажды для разговора по этому поводу меня пригласил профессор Шор. Еще не войдя в его дом, издали, я услышал звуки Шопена и долго стоял у двери, не решаясь прервать его. Это был кристально честный человек с артистической душой, он искал у меня поддержки в своих сомнениях, которые ему внушали окружающие его люди.

Одновременно с созданием общественного комитета помощи в Тель-Авиве была организована антифашистская Лига в Хайфе. Ее возглавил писатель Арнольд Цвейг и ректор Хайфского техниона Капланский.

Я знал Арнольда Цвейга по его книге "Сержант Гриша", которую высоко ценил как одну из лучших в мировой литературе, посвященной Первой мировой войне. Но тут, впервые, я столкнулся с ним лицом к лицу. Это был уже не молодой человек, очень близорукий, к тому же зрение его все ухудшалось. Он сочувствовал сионизму, однако обладал более широким взглядом на мировые события. В наших беседах с ним он всегда возвращался к походам Наполеона и особенно к сражению на Вальми, полагая, что отсюда берет начало Новая Европа

Жил он в Хайфе и обычно мы с ним встречались, когда он приезжал в Тель-Авив, в доме наших общих знакомых, беженцев из Германии. Он был очень талантливый, разносторонний человек, и единственным камнем преткновения для него был иврит. Со временем эта "языковая проблема" стала для Цвейга необычайно болезненной. Однажды он выступал на

митинге в одном из кинотеатров Тель-Авива, и здесь разыгрался настоящий скандал. Он говорил по-немецки, а публика протестовала и не давала ему закончить. Цвейг был взбешен. Отсюда, мне кажется, и пошли его острые антипалестинские настроения.

Разговаривать с Цвейгом было трудно. Он был чрезвычайно эгоцентричен, любил слушать только себя, и в то же время это была воистину поэтическая душа. Он любил музыку и всегда тихо напевал какие-то мелодии, любил цветы, бокал хорошего вина и кусок голландского сыра, да и вообще — это был человек, знавший толк в жизни.

В Палестине Цвейг бедствовал. Все мои попытки связать его с левым, кибуцным движением результатов не принесли, хотя он и издал одну из своих книг в местном рабочем издательстве.

Как я уже говорил, настоящим проклятьем стал для него иврит, который в те годы энергично насаждался среди еврейского населения. Цвейг не принимал это, не скрывал своего возмущения и усматривал в этом даже опасность для страны. "Разве вы не видите, — говорил он, — что это подымает голову шовинизм фашистского типа, этому надо положить конец". Он повторял это как рефрен, о чем бы ни заходила речь, и никаких противоположных доводов не хотел слушать.

Цвейг ненавидел фашизм и в борьбе с ним видел главную цель жизни. А Советский Союз он принимал как грубую, мужицкую, однако реальную силу, которая может переломать кости европейскому утонченному варварству XX века. Он только казался легкомысленным, беспечным эпикурейцем — я знал его лучше, чем многие, и знал, сколь близко к сердцу он принимал все, чем жила его эпоха.

В Палестине Цвейг прожил с 1934 по 1945 годы, до конца войны. Но места в стране он так и не смог себе найти. Одним из близких его друзей был Зигмунд Фрейд, которому он писал:

"...К еврейскому национализму я имею малое отношение, Я — еврей, увы, мой Бог! Но принадлежу ли я как гражданин к тем, кто меня здесь игнорирует? Я хочу бороться только на

одном фронте — против варваров”. И в том же письме он пишет: “Я чувствую себя здесь ложно. И это обстоятельство усугубляется ивритским национализмом, который не дает возможности для публичного выражения другим языкам”.

Покинув Израиль, он уехал в Восточную Германию, и там, насколько я знаю, его отношение к Израилю стало иным. Он писал об этом нашим общим знакомым, которые, в свою очередь, ему отвечали: “Вы, наверное, помните нашего общего друга Цирюльникова, он был тронут, когда мы передавали ему о Вашем отношении к израильским проблемам. И он просил передать Вам, как высоко он ценит Вашу мужественную позицию”.

Арнольд Цвейг был тогда президентом Академии изящных искусств Восточной Германии. И тем не менее, пошел на то, чтобы высказать свое положительное отношение к Израилю во время Шестидневной войны. Уже после его смерти его жена писала: “Положение в Израиле нас очень тревожит, ведь мы все с такими большими надеждами и идеалами участвовали в строительстве этой страны”.

ЧЕГО ХОТЕЛА МОСКВА

Через некоторое время широкая волна симпатий к борющемуся Советскому Союзу заставила присоединиться к фронту солидарности и все партии Гистадрута. Но, по требованию этих партий, в устав Лиги был внесен “сионистский пункт”. Отныне первый параграф гласил — “Помощь Советскому Союзу в его борьбе с фашизмом”, второй — “Завоевание поддержки Советского Союза сионистскому делу в Палестине”. Против этого резко выступили коммунисты, с этим пунктом не был согласен и я, считая, что в тот момент только одна забота должна была объединять людей — уничтожение нацизма.

Лишь позже я пошел на это, во имя создания широкого фронта солидарности. Последовало исключительно бурное собрание активистов Лиги — в большинстве ими были коммунисты, — на котором я защищал заключенное с другими партиями соглашение. Меня открыто обвиняли в том, что я “про-

дал” Лигу. Потребовались колоссальные усилия, чтобы сломить сопротивление коммунистов, но и по сей день я горжусь этим соглашением.

В 1942 году, по приглашению Лиги, в Палестину прибывают два первых советских представителя, приехавших из Анкары. Это были — секретарь посольства в Турции Михайлов и атташе по делам печати Петренко. Сравнительно молодые люди, представители поколения, не знавшего борьбы против сионизма в прошлом, они оставляли хорошее впечатление и были очень тепло встречены.

После длительного периода полной оторванности еврейской Палестины от Советской России казалось, что эти люди прибыли с другой планеты. Это было в тяжелые дни отступления Советской армии, и сам факт присутствия в Палестине представителей СССР содействовал приливу веры и энергии, скреплял антифашистский союз в войне.

Михайлов и Петренко были молодыми, образованными и деятельными людьми, и тогда многим из нас казалось, что они представляют собой слепок советского народа, героически борющегося против фашизма. Довольно скоро между ними и мной установились дружеские отношения и атмосфера полного доверия. Однако, они жаловались, что во время их встреч в Еврейском Агентстве и Национальном совете им неизменно предъявляли требования — отпустить евреев из Советского Союза в Палестину, и это вызывало у них возмущение. Они говорили, что евреи Советского Союза входят в многонациональную братскую семью народов, от которой их не следует отрывать.

Я сопровождал Михайлова и Петренко в их поездках по стране, присутствовал во время их бесед с Мартином Бубером, с Рахелью Янаит Бен-Цви, возглавлявшей тогда хозяйство работниц в Иерусалиме, и многими другими. Позже они участвовали в работе съезда Лиги в Иерусалиме. Съезд проходил с большим подъемом. Вступительное слово произнес доктор Мандельберг, участник Второго съезда РСДРП,

С Мандельбергом мы были очень дружны, несмотря на разницу в возрасте. Это был тот самый Мандельберг, который,

под именем Посадовского, вошел в историю, подняв на Втором съезде РСДРП вопрос о принципах демократии. Должны ли они служить "целям партии" и революции или наоборот.

Протокол съезда рассказывает, что Плеханов в своем выступлении сказал: "Вполне присоединяюсь к словам т. Посадовского. Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе и в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, гласящим, что *Salus Populi suprema lex*. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон". Это не помешало Мандельбергу быть всю жизнь и умереть меньшевиком. Человек исключительного обаяния, Мандельберг неизменно хранил верность нашей дружбе, вопреки многим попыткам членов его социал-демократической группы помешать ей. Из его уст я услышал самый большой комплимент в своей жизни: "Вы напоминаете мне Мартова", сказав он мне однажды.

Накануне отъезда Михайлова и Петренко из Палестины я подготовил по их просьбе прощальные письма, которые были опубликованы в местной печати, и у меня до сих пор хранятся фотокопии этих документов.

Из многочисленных бесед с советскими представителями я, разумеется, мог составить себе представление о тогдашнем направлении советской политики на Ближнем Востоке. Перед лицом германской установки на союз с арабскими народами против английского владычества Советскому Союзу не оставалось ничего другого, как отказаться от своей ориентации на арабское национальное движение.

С другой стороны, единственно, кто шел на Ближнем Востоке единым фронтом с Советским Союзом против гитлеровской Германии, было еврейское население Палестины. Советский традиционный антисионизм не мог не размываться. Было очевидно, что СССР должен повернуться лицом к еврейским национальным устремлениям. Это, действительно, уже почувствовалось на конференции профессиональных союзов в Лондоне (1946 год): здесь впервые советская делегация поддержала резолюцию о еврейском национальном доме в Па-

лестине. Но были и границы этой поддержки: советские евреи как бы выключались из этого конгломерата проблем, поскольку считалось, что еврейский вопрос в Советской России решен раз и навсегда.

ЗАГАДКА ЦВИ НАДАВА

Так или иначе, к концу войны я стал лицом, концентрировавшим в своих руках советские связи в Палестине. Именно в это время сюда прибывает советник Советского посольства в Бейруте, собиравший сведения о позициях различных партий накануне Лондонской конференции профсоюзов; с этим человеком у меня было несколько встреч.

Теперь уже можно рассказать, что этот посланец из Бейрута (фамилию его я позабыл; насколько помню, армянин по национальности), интересовался "Хаганой", состоянием подпольных вооруженных сил еврейской Палестины.

Я был поставлен перед тяжелой дилеммой: испытывая большие симпатии к СССР, я также знал, что есть грань, которую невозможно перейти. И поэтому колебался.

Неискушенные пусть не думают, что решение было не из трудных. Как всегда бывает, абстрактные соображения и конкретный выбор альтернатив — это не одно и то же. Решение пришло спонтанно. Оно сложилось внутри меня как бы подсознательно, и когда оно пришло, наступило просветление. Свое "нет" я сказал настолько решительно, что избавил себя этим самым раз и навсегда от подобного рода вопросов и предложений.

Несколько позже приезжает в Палестину (если не ошибаюсь, он был тут дважды) советник посольства в Египте Султанов — по происхождению татарин. Его цель — собрать максимум политической информации. Это был человек скрытный, готовый каждого в чем-то подозревать и видящий опасность за каждым углом.

Когда мы беседовали у меня дома, он, прежде чем начать говорить, проверил — закрыты ли все двери и окна, а привезшего нас в своем автомобиле Цви Надава, являвшегося президентом Лиги, он вообще просил не заходить.

Цви Надав был чрезвычайно своеобразной личностью. По образованию инженер, один из наиболее активных участников организации "Ашомер"* , он любил разыгрывать из себя простака, хотя был себе на уме. Наши отношения с ним складывались не просто: с одной стороны, не будучи, как и я, коммунистом, он поддерживал мою независимую позицию, но с другой — был преисполнен пиетета к коммунистической партии, и когда наступил момент моего разрыва с ней, он все же остался на своем посту.

До сих пор Цви Надав представляет для меня загадку: человек исключительного мужества, он оказался бессильным перед давлением коммунистов.

Цви Надав часто бывал у меня дома. Он был великолепным рассказчиком, и подарив моему сыну книгу своих воспоминаний, занимал его. Он поддерживал близкие отношения с президентом Израиля Бен Цви и его женой, бывшими его старыми товарищами по движению "Ашомер" . Но он не мог освободиться от коммунистического влияния до конца своих дней.

Еще в начале двадцатых годов он пытался установить связи с Советской Россией через ее посла Крестинского в Берлине. Отправившись затем в Москву, Надав пробовал добиться соглашения об обучении участников "Ашомера" летному делу. Из этих переговоров ничего не вышло, но Цви Надав остался верным своей мечте.

В моей памяти запечатлелась картина одной из последних наших встреч, перед моим уходом с поста секретаря Общества дружбы с СССР, состоявшейся в доме Надава. Микунис возвратился из Москвы, рассказывал, что ему обещано издание еврейского журнала, еврейский театр и многое другое. На меня это уже не произвело никакого впечатления.

* Ашомер — военная организация самообороны, предшествовавшая Хагане.

Я свое решение принял. Мы разъезжались поздно ночью. Цви Надав вышел проводить гостей без шляпы, хотя дело было зимой. Меня остро резанула его подчеркнутая обходительность, граничащая с прислужничеством, по отношению к Туфику Туби, арабскому лидеру коммунистической партии. Зачем это было ему нужно?

В связи с судьбой Цви Надава вспоминается, что сказал Рязанов Ленину на XI съезде партии: "Говорят, что английский парламент все может; он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается".

Пребывание в Палестине Михайлова и Петренко имело еще одно последствие. Поскольку недоверие к тем членам Лиги (представлявшим в основном партии Гистадрута), которые требовали выпуска евреев из СССР, не было рассеяно, то было принято решение создать параллельную ей организацию, эквивалентную Еврейскому Антифашистскому комитету в Москве, которая поддерживала бы с ним самые тесные отношения. Этой организацией стала Levant Publishing Company (Lepak): ее главная цель состояла в том, чтобы распространять в Палестине советскую литературу и информацию. Активное участие в этой организации, помимо коммунистов, приняла группа немецких левых интеллектуалов, беженцев из фашистской Германии,

Сразу же начал издаваться ежемесячный журнал, где публиковались материалы, полученные из Еврейского Антифашистского комитета (были среди них и стихи поэтов Советского Союза, писавших на иврите). Я здесь вел ежемесячное обозрение печати. Особенно жаркий бой разгорелся вокруг статьи Эренбурга, где он утверждал, что нет никакой связи между советскими евреями и мировым еврейством. Я защищал позицию Эренбурга, хотя, разумеется, она не была достойна защиты.

В те дни в Палестине дислоцировалась армия Андерса и, как помнится, именно тогда я помог созданию Союза поль-

ских патриотов, примыкавшего к Ванде Василевской. Помог организовать еженедельную польскую газету.

Большинство активистов этого Союза составляли польские евреи, но были там и исконные поляки. Из их среды выделялся бывший виленский воевода Киртиклис, с которым мы сдружились и которому я помог найти убежище в одном кибуце Ашомер Ацаир.

Киртиклис был очень доволен своим убежищем, но при этом жаловался: "Разве это жизнь, да ведь это же монастырь". Он часто мне рассказывал о том, как магически воздействовали католические священнослужители на свою паству. Сам он переживал в те дни политическую переориентацию, признавая победу и торжество коммунизма и Советской России. "Ты победил, галилеянин", часто повторял он, как бы обращаясь к Сталину. Прошло всего только каких-нибудь десять лет, и выяснилось, сколь сомнительной была эта победа. Для Сталина даже не нашлось места в мавзолее Ленина.

КРУШЕНИЕ МОШЕ СНЭ

Когда пробил час еврейского государства, это был также час победы просоветской ориентации в Израиле. Советский Союз первый признал его, оказав в те дни весьма реальную помощь.

Еще в дни войны в Тель-Авив прибыла советская миссия во главе с Ершовым. Сразу же по ее прибытии, я встретился у себя дома с первым секретарем посольства Рожковым. Он рассказывал мне, как поспешно была сформирована их миссия и как ночью их наставлял министр иностранных дел Молотов: "Вы должны твердо помнить, — говорил он, — что евреи — мировая нация, имеющая широкие связи в разных странах мира, поэтому надо с ними быть всегда начеку!"

В словах Рожкова и в том, как он говорил, чувствовался едва ли не мистический ужас перед скрытой мировой силой еврейства. Это была просто какая-то Достоевщина, я пытался

этот его ужас рассеять, но совсем не уверен, что мне это удалось.

Рожков был чисто славянский тип, одинаково способный и на добро и на жестокость. Так, по крайней мере, мне казалось. Чем-то он мне напоминал Стиву Облонского: высокого роста, со светлыми волосами. Не мягкие, но и не жесткие черты лица. Иногда на собраниях наши взгляды с ним встречались, он смотрел на меня холодно и подозрительно, и мне становилось не по себе — двуликий Янус.

Позже мне стало известно, что Рожков выполнял также и функции уполномоченного КГБ.

Он мне много рассказывал о жене, оставшейся в Москве. Уезжая в отпуск, домой, он всегда закупал много подарков. Особую слабость имел к золотым вещам. По-видимому, Рожков мне доверял, и это мне помогло в дальнейшем, когда я решительно возражал против попытки левой группы, во главе со Снэ, вызвать раскол МАПАМа и создать новую партию левых.

Рожков тогда согласился, по моей просьбе, встретиться с двумя видными деятелями группы Снэ, чтобы помочь мне противодействовать расколу.

Но кто такой был Снэ? Это был человек большого политического таланта, народный трибун. В Палестине он, вероятно, был в первом десятке наиболее крупных политических лидеров. В начале сороковых годов он возглавлял штаб Хаганы, но к концу войны все более склонялся к просоветской ориентации. Очень скоро он возглавил партию левых, объединившуюся впоследствии с коммунистами.

Снэ издал брошюру, в которой клеймил сионизм как буржуазный национализм и агентуру империализма. (Позже, в своем завещании, он каялся в этом.)

Объединив свою партию с коммунистической, Снэ вошел в политбюро, стал редактором коммунистической газеты "Голос народа" и занял ведущее место в партии. Только в 1965 году произошел перелом в его воззрениях. Он пошел на открытый разрыв с Советами и вместе с Микунисом повел

значительную часть партии по пути защиты национальных интересов Израиля.

Я встретился с ним впервые в левом издательстве "Наука и Жизнь", где я редактировал перевод "Краткого философского словаря". Здесь у нас произошли резкие столкновения — правда, на научной почве — из-за различного толкования научных понятий. После моего разрыва с Обществом израильско-советской дружбы — в 1956 году мне пришлось скрестить с ним шпаги уже на политической арене. Но зато, когда в 1967 году нависла опасность войны, у нас сразу же установился контакт и завязались дружеские отношения. В дальнейшем мне предстояло осуществлять посредничество между ним и Микунисом, накануне съезда компартии, но тогда Снэ был уже на смертном одре.

Как я уже сказал, Моше Снэ был политическим лидером большого калибра: обладавший живым умом, уверенный в себе, знающий толк в тактике и маневрах политической борьбы. Но иногда, увлекаясь тактикой, он терял перспективу, думая, что он может "перехитрить" историю, и тогда он оказывался у разбитого корыта.

Однажды мы устроили дискуссию на квартире наших общих знакомых, затянувшуюся за полночь. Это было уже после Шестидневной войны, после раскола Коммунистической партии. Снэ отстаивал тогда крайнюю позицию: Израиль согласится вести переговоры с арабскими странами только в случае их готовности пойти на полный мир. Я же отстаивал противоположное мнение: мир возможен, даже если он не полный, главное — избежать новой войны.

Наша дискуссия, как это часто бывает, не привела ни к каким результатам и, когда мы расстались, Снэ сказал мне: "Да не убоишься, раб мой Яков", на что я ему ответил: "Счастлив тот, кто боится всегда".

Выйдя ночью на улицу, мы тепло простились. Я ушел с чувством нарастающей тревоги, ибо знал, что Израиль идет к новой войне.

У Снэ была исключительная хватка еврейского интеллектуала, способность ловить мысли на лету, с ним легко было

беседовать, он знал русский язык и понимал собеседника с полуслова. Но, как мне казалось, ему не хватало широты русской культуры.

Когда Снэ стал главным редактором газеты "Голос народа", я был уже почти по ту сторону "прогрессивного лагеря". Незадолго до этого мы с ним встретились на одном из приемов, кажется, в посольстве Румынской Народной Республики. Он упрекал меня в том, что я почти прекратил свое сотрудничество в газете. Казалось, что он просто хитрит, делает вид, будто не знает, что я уже "на отлете". Но, с другой стороны, мне не хотелось касаться этой темы, и разговор не состоялся.

Я вел острую дискуссию со Снэ на страницах оппозиционного журнала "Новые дороги", где были опубликованы мои полемические статьи против Снэ. Я писал, что часы его безжалостно отстают и что время коммунизма по образу и подобию Советского Союза безвозвратно ушло. Не знаю, сыграла ли эта полемика какую-то роль в его последующем повороте во время Шестидневной войны. Но этот час пришел и для него. У меня, разумеется, было чувство удовлетворения, что я свой поворот совершил значительно раньше, когда Снэ еще только входил в коммунизм.

Я и сейчас думаю о его загубленной политической карьере. Он имел все данные для того, чтобы быть главой правительства Израиля, может быть, большие данные, чем другие, которые занимали или занимают этот пост. Победа Советского Союза над гитлеровской Германией и советская поддержка Израиля в конце сороковых годов сбили Снэ с его пути. Он, по-видимому, полагал, что и Ближний Восток окажется в советской сфере влияния. Снэ поставил на советского коня, и эта карта была бита. Когда он совершил свой поворот, было уже поздно. Как писал Тютчев: "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые", но был ли Снэ счастлив?

САМУИЛ МИКУНИС

Незадолго до этого мы с Рожковым пришли к выводу о необходимости изменить курс Коммунистической партии. Без этого она была не способна выйти из изоляции и пойти на сотрудничество с местными рабочими партиями и в особенности с МАПАМом, Это было еще до прихода Снэ. О руководстве партии Рожков имел весьма определенное и не столь лестное мнение. Микуниса он называл артистом, Вильнера характеризовал как воплощение узколюбости и ограниченности, а теперь уже покойную Виленскую называл дамой в корсете.

О Микунисе он говорил явно несправедливо. Я знал его с середины тридцатых годов, и по-моему, его никогда, даже если он был не прав, не оставляло какое-то внутреннее благородство. Я бы сказал, что даже в его заблуждениях всегда слышался голос совести.

Микунис пришел к коммунизму в середине тридцатых годов, кажется, во время гражданской войны в Испании, и с тех пор мы не перестаем встречаться. В молодости он был актером театра "Огель", плоть от плоти рабочего класса еврейской Палестины.

Дух рабочего энтузиазма принес с собой Микунис и в коммунизм. Я думаю, что именно этот дух спас его от превращения в партийного сановника. Если бы я должен был охарактеризовать его личность, я бы раньше всего отметил его импульсивность. Это, может быть, не слишком блестящее качество для политика, но, безусловно, положительное с человеческой точки зрения.

Когда во время освободительной войны Микунис мобилизовывал в Чехословакии оружие для Израиля, он действовал сообразно желанию Москвы. Но в то же время как израильский патриот он вкладывал в это дело душу, и это его выгодно отличает от коммунистов типа Вильнера.

На Микунисе, как и на его партии, лежит тяжкая вина за многое. Достаточно вспомнить дело парохода "Струма", перевозившего к берегам Палестины еврейских беженцев с занятых Гитлером территорий и потом затопленного союзниками.



Бывший виленский воевода
Киртиклис в Израиле
Самуил Микунис в своем
рабочем кабинете
Арнольд Цвейг в Израиле



Несмотря на это, партия Микуниса продолжала придерживаться своей позиции против еврейской алии в Палестину. Это была позорная страница. Не менее позорной была позиция Микуниса и его партии после заключения пакта Молотов-Риббентроп. Тогда они выпустили воззвание, в котором говорилось, что Гитлер после заключения этого пакта — уже другом Гитлер — миролюбивый...

В основе всего палестинского (а потом израильского) коммунистического движения лежала роковая ошибка, как бы первородный грех: коммунисты не поняли динамичности еврейской Палестины, ее национальных устремлений и поэтому оказывались всегда в хвосте событий, в хвосте арабского национализма.

Прошло немало лет, пока Микунис и его партия осознали, что еврейское население Палестины — это не национальное меньшинство, а народ, имеющий свое право на национальное самоопределение.

Теперь нечего, конечно, ждать, что семидесятипятилетний Микунис пересмотрит свои политические позиции. Он был и остается коммунистом. Однако вспомним, что во время Шестидневной войны именно Микунис, широко известный деятель мирового коммунистического движения, член "сталинского синедриона", нашел в себе мужество пойти на разрыв с Москвой. И это надо уметь оценить.

Что же касается Вильнера, то Рожков его охарактеризовал как нельзя более метко. Он — типичный коммунист сталинского образца, превосходящий по своей узости, догматизму и отсутствию моральных принципов многих литературных персонажей сталинского времени. О нем можно сказать то же, что Троцкий когда-то сказал о Макдональде — "Зачем ему жандарм, в нем самом сидит жандарм!"

Известно, например, что в дни создания еврейского государства Вильнер был в состоянии полной прострации. Люди, видевшие его в эти дни, говорили, что на нем не было лица. Впрочем, это и понятно: Вильнер принадлежал к тому типу коммунистов в Палестине, которые годами, десятилетиями воспитывались на антисиионизме. Поддержка, оказанная со-

ветским правительством созданию еврейского государства, была воспринята ими как катастрофа, как отказ от священных марксистских принципов. Должно было пройти время, прежде чем они пришли в себя и смогли начать вновь распевать: "Гром победы раздавайся!"

Что представляет собой Вильнер, я хорошо понял в 1954 году, когда было создано Общество дружбы с Советским Союзом и я занял пост его секретаря. Мне надо было согласовать свой доклад на Конгрессе советско-израильской дружбы с компартией, а она выделила для этого Вильнера. Могу сказать, что это было настоящее хождение по мукам, я наткнулся на резкое сопротивление всякий раз, когда пытался придать Конгрессу сколь-нибудь независимый характер. А когда в своей приветственной речи я призвал к дружбе, основанной на равенстве и взаимности, и сказал, что в этой области Советы могут кое-чему поучиться у Израиля, то в коммунистических кругах был взрыв негодования: "Разве может Советский Союз чему-либо учиться у буржуазной страны?"

В 1944 году, при выборах уполномоченных в Национальное собрание (место которого впоследствии занял кнессет), руководство компартии предложило мне баллотироваться в ее списке. Я категорически отказался, заявив, что я — чело-век беспартийный и хочу сохранить свою независимость. Вильнер был единственным, кто не желал меня понять. Он настаивал, чтобы я принял предложение руководства компартии.

На Конгресс дружбы должна была прибыть советская делегация во главе с Софроновым. Я вел переговоры с секретарем МАПАЯ Кессе и с секретарем Гистадрута Намиром, добываясь для советской делегации разрешения на въезд в Израиль. На известной стадии в переговоры включился глава правительства Шарет, но эти переговоры ничего не дали из-за слабости Шарета, который опасался нападок со стороны правых. Так что Софронов, да и никто из советских, тогда не приехал в Израиль.

Моше Шарета я знал еще со времени своего приезда в Пале-

стину. Тогда он не принадлежал к вождям рабочего движения и занимал скромный пост секретаря газеты "Давар". Это было время, когда все в Палестине носили русские рубашки, опоясанные шнурком, и Шарет обычно так и одевался. Я его встречал во время субботних прогулок, и мы с ним подолгу беседовали.

М. Шарет был умный и образованный человек, но не было у него никаких данных, чтобы быть вождем.

Убийство Арлозорова, во времена которого Шарет был секретарем политического департамента Сохнута, привело к тому, что он сменил Арлозорова на посту председателя. С этого начался взлет его политической карьеры, который привел его на пост главы правительства.

БАРЗИЛАЙ

А теперь, пожалуй, время рассказать о человеке, который оставил в моей жизни особенно светлую память и которого я узнал только в конце пятидесятих годов. Речь идет о Барзилае, первом секретаре коммунистической партии Палестины, возглавившем впоследствии Ближневосточный отдел Коминтерна. В 1935 году он был арестован и с тех пор, в течение двадцати лет, скитался по бесчисленным лагерям великой коммунистической державы, вплоть до своей реабилитации в 1956 году. Это был физически тщедушный человек, но в нем жил могучий дух, позволивший ему выстоять перед лицом самых тяжелых испытаний, включая смертный приговор.

Когда я его увидел, по его возвращении в Израиль, он выглядел глубоким стариком, но все равно сохранял ясность мысли и даже волю к борьбе. Мы с ним сблизились, часто спорили о коммунизме, о прошлом и будущем страны.

В своей последней книге "Крушение поколения" (1973) он делает попытку подвести итоги своей жизни. Он обращается к молодому поколению, стараясь приковать его внимание к фактам, но не к домыслам историков.

Станным образом уживались в этом человеке различные

и даже противоречивые порывы. Будучи приговорен к смертной казни, он дал обет возвратиться к вере своих отцов и поститься два раза в неделю. Этот обет он свято хранил и выполнял до последних дней жизни. И в то же время он оставался верным принципам коммунизма, полагая, что все зло шло от личности Сталина.

Поражала в Барзилае его исключительная честность с самим собой, которую он, по-видимому, выработал во время своих скитаний по концентрационным лагерям России. Он производил впечатление человека, который как бы всегда был на исповеди. Много молчал, но когда говорил, то снова и снова ставил "проклятые вопросы". Он не мог отделаться от своей веры в принципы коммунизма, хотя решительно осуждал не только Сталина, но и послесталинскую советскую действительность.

Однако, когда его жена, не уставшая ругать Советский Союз и написавшая книгу о своих мытарствах, вмешивалась в наши споры о Ленине, он тихо и осторожно ее осаживал. Он был человек, упорно стремящийся познать правду такой, как она есть, со всеми ее противоречиями и тупиками. В наших спорах не было целевой установки. Мы хотели понять, разобраться — как и почему произошло то, что произошло. Это была одна большая и длинная беседа, прерывавшаяся иногда на месяцы и возобновлявшаяся как будто бы она никогда и не прерывалась. Однажды Барзилай мне сказал: "Ты знаешь, наши беседы напоминают мне разговор двух людей, спасшихся на острове после кораблекрушения". Он постоянно возвращался к одной и той же теме: ложь и лицемерие, которые проникли в живой социализм.

"Колоссальный аппарат коммунизма, — говорил он, — сдул его дух, от него остались рожки да ножки, идеалы справедливости попросту забыты. Не такова ли судьба всякой революции?" — спрашивал он с горечью.

Иногда мне кажется, что о Барзилае можно сказать словами Андрея Белого:

**Мыслью века он измерил,
Но жизнь прожить не сумел.**

**Золотому блеску он верил,
А умер от солнечных стрел.**

"В БОЙ ЗА РОДИНУ, В БОЙ ЗА СТАЛИНА"

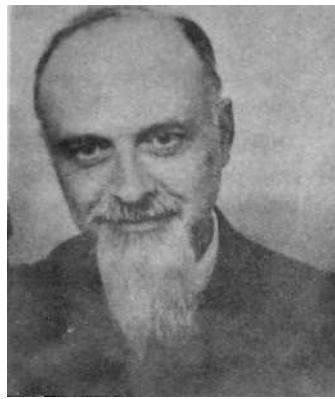
Хочу теперь возвратиться к моим контактам с советским посольством. Советская миссия прибыла в Тель-Авив еще во время войны за Независимость в 1948 году, и это вызвало едва ли не всеобщее ликование. СССР был первой великой державой, признавшей Израиль и приславшей сюда, даже раньше Америки, своих представителей.

На улицах тогда распевали советские песни: "Полюшко-поле", "Выходила на берег Катюша" и многие другие. Широко издавалась советская литература. Особой популярностью пользовалась книга о панфиловцах, само существование которых теперь поставлено под сомнение. Во многих кибуцах и отделениях партии МАПАМ висели портреты Сталина. Рассказывали, что некоторые воинские части, сформированные из новых репатриантов восточно-европейских стран, шли в атаку с песней "В бой за Родину, в бой за Сталина". И это несмотря на то, что стоящая у власти рабочая партия МАПАЙ была настроена далеко не просоветски, и еще незадолго до этого Бен-Гурион назвал Сталина "грузинским хамом".

Советская миссия расположилась на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, в красивом двухэтажном особняке, с большими и высокими залами. Прием в посольстве выглядел как большой праздник, на нем присутствовал первый президент Израиля Хаим Вейцман (тогда уже престарелый человек, с очень плохим зрением), все министры и общественные деятели страны. Это было половодье чувств, переливавшихся через край. Советско-израильский "роман" был в полном разгаре, но он оказался недолговечным. На небосклоне собирались тучи. Во время одной из моих поездок по стране с сотрудниками посольства Поповым и Семушкиным, Семушкин начал посмеиваться над тем, что в Израиле везде и всюду в университетах, больницах, школах "натыкаешься" на до-



Петренко в кругу членов Лиги помощи Советскому Союзу



Иосиф Барзилай после возвращения из России

Моше Снэ в Советском Союзе



щечки с именами жертвователей, "все государство пожертвовано" — сказал он. На что я ответил ему довольно резко: "Вы просто не понимаете и, наверное, никогда уже не поймете, что значит для евреев Израиль". На этом наш "обмен мнениями" закончился.

Надо отметить, что сотрудники посольства вели довольно замкнутый образ жизни, почти не общаясь с жителями Тель-Авива. Насколько мне известно, они должны были отчитываться о каждом посещении или визите к кому-либо из местных. На приемах они вели себя более чем сдержанно, не позволяя ничего лишнего.

По предложению Рожкова я составил меморандум о местной коммунистической партии, который он увез с собой в Москву. После его возвращения мы встретились вечером на приеме в посольстве, и он успел мне сказать, что все в порядке: меморандум утвержден. Окрыленный надеждами, я ждал дальнейшего развития событий, но тут произошло совершенно неожиданное: бомба, взорвавшаяся в советском посольстве, привела к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Иерусалимом.

Как выяснилось, этот взрыв был делом рук крайних националистических элементов, но в нем отразилось отчуждение, появившееся в отношениях между обоими государствами.

Советский Союз начал проявлять все больше симпатии к арабам, а Израиль, со своей стороны, отошел во время Корейской войны от политики "неприсоединения". К тому времени СССР уже успел разочароваться в Израиле, который сблизился с Западом. А главное, — и в этом прежде всего была его вина перед лицом советского правительства — он вызывал к себе симпатии советского еврейства. Это и послужило исходным пунктом для крестового похода против "еврейского засилья" в Советском Союзе. Кульминацией этого похода стало физическое уничтожение еврейских писателей и разгром еврейского театра.

Мы, друзья Советского Союза в Израиле, ничего не знали о расправе над еврейской культурой в "стране Советов". Можно понять поэтому, насколько все мы были возмущены

террористическим актом против советского посольства. Я срочно поехал в посольство, чтобы выразить солидарность с его сотрудниками.

Когда через некоторое время после смерти Сталина дипломатические отношения между СССР и Израилем были возобновлены — по советской инициативе, — лично я увидел в этом своего рода знамение больших перемен к лучшему.

Между тем, на упомянутом приеме я произнес речь, в которой горячо приветствовал нового советского посла Абрамова, после чего Попов (ответственный за развитие культурных связей между двумя странами), начал всячески расхваливать мою речь. И это, как всегда, покорило меня, поскольку задало мое чувство независимости. Помню, как я ему сказал довольно недружелюбно: "Меня не надо гладить по шерсти".

Помню также беседу на одном из приемов в посольстве, в ней участвовали посол Абрамов, израильский поэт Шленский и я. Здесь также, чтобы подчеркнуть свою независимость, мне пришлось сказать пару фраз, явно не понравившихся советским товарищам. На что удивленный Шленский недовольно заметил, что лично его от моего тона "обдаёт сквозняком".

Однажды я был приглашен на ужин к советнику посольства Мухину. В беседе участвовали только мы двое. Тогдашний посол Ершов находился в отъезде, и Мухин его замещал. Во время этой беседы я получил возможность ближе узнать ментальность и замыслы членов миссии.

Мухин был, пожалуй, наиболее образованным и интеллигентным человеком в среде персонала посольства, и, кажется, человеком достаточно честным. Он мне много рассказывал о Сибири, о ее богатствах, говорил со мной даже о своей интимной жизни, и я никогда не слышал от него двусмысленных замечаний о евреях или об Израиле. Так было раньше. Но в этот вечер он приподнял немного "завесу" над своими мыслями. Он вдруг высказал мне, что совершенно не верит в кибуцы, в их будущее. Это было занятно: человек коммунистической страны не верил в будущность коммун. Развивал он и другую идею, будто государство Израиль представляет

собой "осколок" русской культуры, заброшенный ветрами истории на Ближний Восток.

Я пытался доказать Мухину, что существует самостоятельная и оригинальная культура еврейского народа. Не знаю, удалось ли мне его убедить. Наверное, нет.

Мухин был очень любезен и даже откровенен. Но, в отличие от Рожкова, он отводил все мои попытки завести разговор о местной коммунистической партии, чья позиция меня давно не удовлетворяла. Вместо этого он говорил об общих проблемах израильской политики, довольно прозрачно намекая, что Израиль находится на перепутье и что левые партии должны включиться в общий фронт с коммунистической партией против правительственной коалиции "реформистов". Когда я пытался ему доказать, что это невозможно из-за сионистских идей, разделявших социалистические партии и коммунистов, и что именно последние должны изменить свое отношение к сионизму (хотя бы как итальянские коммунисты в отношении католицизма), он отвечал: "Это все слова, и значения они не имеют". Так и разошлись мы, ни до чего не договорившись, хотя оба были навеселе.

Помнится, он в этот вечер еще говорил: "Вы посмотрите, ведь все командные высоты в политике и в хозяйстве страны заняты выходцами из России, владеющими русским языком, — чем же это не продолжение России?" При этом он широко улыбался своими добрыми, подслеповатыми глазами. Я предостерегал его от иллюзий: "Эти выходцы из России приобрели свой кусок земли, и это "свое" дороже им всего на свете".

Беседа велась в полушутливом тоне, но ни у Мухина, ни у меня не было сомнения, что за ней кроется нечто серьезное. Значительно позже, размышляя о минувшем, я подумал: не было ли в этой полушутливой беседе предвосхищения наступавших событий? Конечно же, столкновение между Советским Союзом и Израилем имеет свои реальные и политические причины. Великодержавная политика Советской России направлена на то, чтобы обосноваться на Ближнем Востоке, оседлав для этой цели арабского коня. Но, возмож-

но, что этот конфликт имеет и более глубокий смысл: это столкновение двух мессианизмов, советского — стремящегося к мировой гегемонии, и израильского, исполненного веры, что Сион является источником света для других народов.

Нет никакого сомнения, что советская гегемония органически связана с исконным русским мессианством, мечтавшем о третьем Риме. В противоположность этому, мессианство еврейское никогда не было связано с какими-либо политическими или государственными устремлениями, а всецело основывалось на общечеловеческих принципах нравственности.

КАК ДЕЛАЛИ ПРЕЗИДЕНТА

Теперь я должен рассказать о двух литературных предприятиях, в которых мне довелось принять участие. Первым был журнал "Ликуд" (Сплочение), его начал издавать профессор Айзенштадт, известный в стране правовед, являвшийся также ученым секретарем академического комитета по языку. Жена Айзенштадта была чрезвычайно энергичной, можно сказать, сверхэнергичной особой, которую побаивались во всех редакциях газет и журналов. Настроена она была просоветски и мечтала побывать в Кремле. Под ее влиянием Айзенштадт основал издательство для переводов советских книг, и одним из первых таких изданий стала советская конституция, а потом почему-то произведения Радищева.

Кем был профессор Айзенштадт? Это был типичный еврейский просветитель и рационалист, который в молодости занимался в ешиве, а затем уже получил русское образование. К сионизму он пришел во время революции 1905 года. В молодые годы опубликовал книгу о социальных идеалах израильских пророков, а в зрелые — два тома по истории еврейского рабочего движения.

Айзенштадт приехал в Палестину в начале двадцатых годов из Москвы, где работал в Румянцевской библиотеке. Он как бы был создан для научной работы, но жена непрестанно толкала его в политическую деятельность в надежде на то, что он займет место на высших ступенях коммунистической ие-

пархии. Как-то будучи у меня в доме, он заметил: "Когда ложишься спать, то никогда не знаешь, какова будет позиция Москвы наутро".

Именно из-за профессора Айзенштадта у меня разгорелся горячий спор с коммунистами, которые хотели выдвинуть его кандидатуру на выборах президента государства. Я резко возражал. И, как всегда, решили посоветоваться в советском посольстве с тогдашним послом Абрамовым. Я знаю, что читателю в любой демократической стране это трудно понять — едва ли не по каждому поводу шли за советом к "советским" — и им принадлежало последнее слово. Но таковы были нравы, выработанные сталинским коммунизмом, и я бы погрешил против правды, если бы умолчал о них. Итак, беседа, которая велась в очень приятной обстановке, за столом, уставленным всякими напитками и яствами, приняла неожиданный оборот. Абрамов, чтобы переубедить меня, начал рассказывать о том, как, будучи послом в Финляндии, он "сделал" там президента, кажется, Паасикиви. Он так и сказал "сделали президента". Даже для меня, привыкшего к советским нравам, это было слишком.

В редакцию журнала "Ликуд" я вошел по настоянию жены Айзенштадта; помню, как, больного, она потащила меня на заседание редколлегии, чтобы я написал редакционную статью для первого номера. Своему мужу она не очень доверяла в политических делах.

Другим литературным предприятием был журнал "Тмурот" (Перемены), редакция которого состояла из Мордехая Ави-Шаула — писателя и переводчика, Александра Пэна и меня. Здесь я впервые познал нравы литературной коммунистической братии: работать было некогда, надо было постоянно мирить моих соредакторов, боровшихся за лидерство в "прогрессивном лагере".

А. Пэна я узнал по приезду в страну, он писал стихи на русском языке и часто читал их мне. Потом наши дороги разошлись, и я встретился с ним вновь уже только после войны; он тогда примкнул к Лиге, а потом и к коммунистической партии. Тем временем он стал знаменитым поэтом, писал на

иврите — у него был безусловный талант и особое чутье музыкальной ритмики стиха. Но как человека я его не ставил высоко — я не верил в его искренность, и, мне кажется, он знал об этом.

Еще один урок извлек я из работы в журнале "Тмурот" — там процветало взаимное подогревание страстей, все демонстрировали свою верность идеалам "прогрессивного лагеря", один пытался "переплюнуть" в этом другого, и это, естественно, меня настораживало.

Но, что же все-таки представляли собой коммунисты Израиля? Речь идет не о Вильнере и его сподручных, а о многих честных активистах, действовавших в разных городах страны. Что стало с ними? Многие ушли в академическую жизнь, стали профессорами и лекторами в университетах, иные разошлись по домам, некоторые продолжают участвовать в других левых организациях, а совсем малая часть продолжает нести "знамя" до сих пор.

Я хорошо знал этих людей и могу свидетельствовать, что в большинстве своем это были люди доброй воли и благородных устремлений. Помнится, что в двадцатых годах служанками во многих домах Тель-Авива были интеллигентные девушки, покинувшие кибуцы для того, чтобы влиться в революционное движение. Чем же объясняется метаморфоза, которую пережили эти люди, каждый из которых по-своему порвал с коммунизмом?

Думается, что существуют тут две причины: одна — внутренняя, другая — международная. Внутренняя заключается в том, что коммунизм в Палестине родился под знаком "арабизации"; эта была арабская партия еврейских коммунистов, которая предполагала стать частью арабского национального движения. Но сколь долго можно было нести в себе такое противоречие, не поплатившись моральными ценностями?

Другая причина связана с перерождением всего международного коммунизма. "Партия нового типа" перепахала всех коммунистов, превратив их из революционеров в "солдатиков", шагающих в ногу.

Для того, чтобы избавиться от ложного обета верности,

данного ордену "борцов за новый мир", нужна была не только честность, но требовалось еще и мужество, а оно не всегда было. В этом главная трудность разрыва с коммунизмом, но не только в этом.

Советская мифология, которая подымает на щит абстрактную правду идеального социализма, нисколько не считается с конкретной правдой действительности. Всякий, отвергающий советский коммунизм, становится как бы против идеальной правды социализма.

Есть и еще одно обстоятельство — это скрытая от внешнего взгляда круговая порука, связывающая всех тех, кто исповедует коммунистическую идеологию: все оправдано, если это "для пользы дела". Нельзя не упомянуть и так называемую "революционную бдительность". Рабочий класс находится под давлением мелкобуржуазной стихии, и только очищая себя от этой скверны, он может оставаться верным своей освободительной миссии. Не наваждение ли это "классового врага", спрашивает себя каждый коммунист, ловящий себя на какой-либо "ереси"? И, наконец, последнее: коммунизм не признает возможности идейных и в то же время морально чистых противников. Для коммуниста каждый идейный противник — это "агент врага". Каждый уклоняющийся от генеральной линии, вырабатываемой на кремлевском олимпе, автоматически превращается в "прислужника империализма", и, конечно же, каждый уходящий видит перед собой пропасть падения.

И. Силоне рассказывает, что при отъезде из Москвы в 1922 году Александра Коллонтай сказала ему: "Если прочтешь в газетах, что Ленин приказал меня задержать по обвинению в краже серебряных ложек в Кремле, знай, что речь идет о разногласиях в промышленной или сельскохозяйственной политике". Таковы были нравы уже в ленинские времена.

В основе перед нами конфликт ценностей. С одной стороны, ценности революционного движения, превратившегося в бюрократическую иерархию, строго хранящую эти "ценности", как застывшие догмы. С другой стороны — ценности

свободной мысли, разума и личности в их конкретно-историческом проявлении в каждую данную эпоху.

В политической сфере возможны бесчисленные градации компромиссов. Но в моральной сфере возможна только одна система ценностей — либо свобода, либо тоталитарный коммунизм.

РАЗВЯЗКА

Между тем назревала Синайская война. Национализация Суэцкого канала восстановила против Египта Англию и Францию, а Израиль имел свой особый счет с Египтом, который неоднократно засылал к нам террористов. Советский Союз пытался смешать все карты и обвинить Израиль в участии в империалистическом заговоре против Египта. Во мне, разумеется, все восставало против этого. Я не уставал говорить, что если бы Египет согласился открыть Суэцкий канал для Израиля, он, разумеется, не принял бы участия в войне.

Так начались мои серьезные разногласия с Советами. В их глазах это было, разумеется, проявлением "буржуазного национализма", о чем они почти не стеснялись говорить. Но меня это не смущало.

Попов посмеивался — мол, испугался террористов, бомб, но я ему ответил: "Бомбы падают и на головы тех, кто пользуется дипломатической неприкосновенностью".

Во мне все больше росла тревога: служу ли я своим целям, служу ли правому делу?

Разногласия эти особенно обострились после известной ноты Булганина-Хрущева, угрожавшей, хоть и в завуалированной форме, самому существованию Израиля. Еще незадолго до этого я надеялся изменить характер Общества дружбы Израиль—СССР. Общество дружбы, писал я, ни при каких обстоятельствах не должно служить целям советской пропаганды и не должно рассматривать Советский Союз как образец для всех наций.

После ноты Булганина-Хрущева я потребовал авторитетного разъяснения, которое опровергло бы ее антиизраиль-

ское толкование, но такового не последовало. Тогда наступил для меня час решения.

Мне предлагали ехать в Москву для объяснений, на меня оказывала давление местная коммунистическая партия. Несколько моих друзей, в том числе писатель М. Ави-Шаул и уже упомянутый инженер Цви Надав, еще недавно поддерживавшие меня, теперь переметнулись на противоположную сторону, и я остался один. Один на один со своей совестью.

Однако решение было принято, Рубикон перейден. Я опубликовал в печати письмо, в котором объяснял причины своего ухода из Общества дружбы Израиль—СССР. Помимо этого, я направил письмо в адрес советского посла.

В этом письме я напомнил Абрамову, что еще в начале его миссии я обещал ему, что от меня ему придется выслушать тьму низких истин, однако, я никогда, ни при каких условиях, не пойду на возвышающий обман. И вот теперь настал час испытаний. В своем письме я резко критиковал советскую политику на Ближнем Востоке, а также линию местной коммунистической партии. Я признавал, что моя попытка создать Движение дружбы с СССР на широкой национальной основе не увенчалась успехом, и я должен сделать из этого все выводы. Так закончилась моя карьера "служителя культа дружбы" с Советским Союзом.

Таков был внешний ход событий, внутренне же, в борьбе с самим собой, мне пришлось преодолеть много сомнений и колебаний. Это совсем не так просто — преодолеть в себе влияние революции, взявшей на себя миссию освобождения человечества, и бросить вызов стране, только что вызволившей мир ценой великих жертв из-под фашистского ига. Но я уже говорил, что никогда не сливался до конца с "марксизмом-ленинизмом" и, тем более, со сталинизмом. Это облегчило мой разрыв, который исподволь подготавливался многими событиями: борьба с космополитизмом, поход против Тито, ликвидация Еврейского Антифашистского комитета и многое другое. Я не превратился из друга во врага России, но я возвратил себе свободу: свободу суждений, сво-

боду принимать решения в соответствии с требованиями совести.

Я уходил с поста секретаря Общества дружбы со смешанным чувством: освобождения и в то же время огорчения. Я знал, что ухожу в политическую пустыню — в коммунистическом лагере искать мне больше нечего, но и в качестве левого социалиста я вряд ли мог найти себе место в каком-либо политическом течении, зато я знал, что остаюсь верен себе.

Я был весьма далек от салонного коммунизма и презирал его. Мое присоединение к фронту коммунизма было вызвано капитуляцией западной демократии перед лицом фашизма в Италии, Германии, Испании и мюнхенским сговором Англии и Франции с Гитлером.

Как я теперь понимаю, мой уход от союза с коммунизмом был вызван с одной стороны, перерождением Советского Союза в великодержавную Русь, и с другой стороны, враждебностью советской политики по отношению к Израилю.

Однажды Силоне в разговоре с Тольятти шутил сказал: "Последний бой будет между коммунистами и бывшими коммунистами". Но нет, этого не случится, коммунизм на Западе линяет и будет линять. А русский и китайский коммунизмы уже воплощают в себе национализм двух великих держав. Независимый коммунизм и социализм должны будут возвратиться к своему основанию — к свободному демократическому движению рабочего класса, в его новой форме, вызванной современным капитализмом.

Я должен еще сказать несколько слов об Эренбурге, сыгравшем такую большую роль в создании околокоммунистического движения мира. Он был главный "совратитель" сердец и многое сделал, чтобы повернуть и мое лицо к СССР. О его книге "Люди, годы, жизнь" хорошо сказал Василий Гроссман: "Он должен был каяться, его книга должна была быть исповедью, а получился фельетон".

Оглядываясь назад, я вижу перед собой путь одиночки, сопрягающего свои усилия с усилиями масс, но пытающегося отстоять самого себя и остаться самим собой. Поверьте мне,

— это крестный путь. Я не собираюсь учить кого бы то ни было и преподавать кому-то уроки, но я хочу сказать на основании своего жизненного опыта: нужна большая сила, чтобы быть слабым, чтобы суметь быть слабым! Это парадокс, но это так.

Суммируя сказанное, я не могу не сказать об одном выводе, сделанном мною. В шуме и хаосе жизни человек, проходящий свой короткий жизненный путь, теряет способность слышать самого себя. А это кажется мне самым главным: слышать голос своего сознания, своей совести. Правда — внутри нас. Советский коммунизм, в погоне за "диктатурой пролетариата", потерял чувство элементарной человечности. И в этом причина крушения, которое он потерпел.

Сегодня пореволюционная Россия представляет собой потухший вулкан, ибо руководствуется не человеческими и моральными, а лишь силовыми факторами: властью и военным могуществом. Между тем, любые идеалы, теряющие связь с человечностью, превращаются в свою противоположность. История уже видела могущественные империи, но она же видела их конец. Подспудные факторы, материальные и духовные, проникают или прорываются в жизнь и создают новую действительность. Поистине нет в истории ничего вечного.

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ "Н. И. Л."

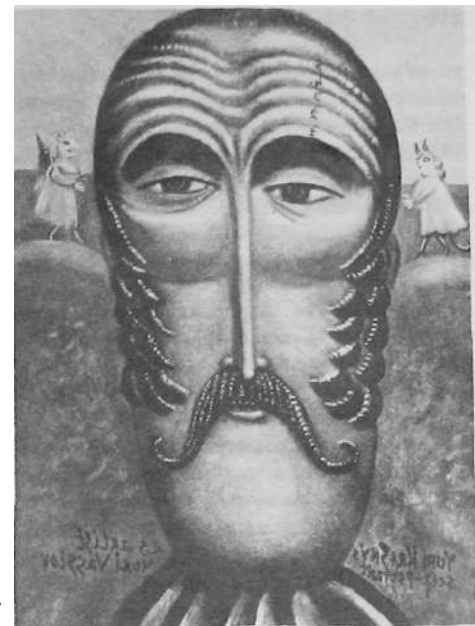
НАУКА. ИСКУССТВО. ЛИТЕРАТУРА

НАУЧНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Монографии и учебники по:
математике, физике, химии, медицине, технике

тел. 03-291452
ул. Нахмани 12 (вход со двора)
часы работы: 9—13 и 15—18
вторник и пятница: 9—13

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"



Наталья ГРОСС

"КУКОЛЬНЫЙ ДОМ" ЮРИЯ КРАСНОГО

Практика современного искусства за последние десятилетия настолько разрушила традиционный взгляд на то, что является "искусством", что сегодня — как это ни парадоксально — фигуративное изображение как таковое подвергается сомнению, а фигуративный художник нуждается в защите. И все же именно сегодня мы являемся свидетелями зарождения новых фигуративных принципов.

Стиль Юрия Красного принадлежит к этому направлению нового фигуративизма.

Несколько слов о пути художника. Родился в Москве, в 1925 году, и уже там, в России, стал одним из виднейших книжных иллюстраторов. В 1972 году эмигрировал в Израиль, где занимался живописью, скульптурой, графикой. Выставлялся в Германии, Швейцарии, Бельгии, Швеции, Японии, и везде пользовался неизменным успехом. Может быть, потому, что в своем творчестве Юрий Красный соединяет свой индивидуальный миф и стремление к совершенству формы — к точности и чистоте визуального языка. Он проповедует философию искусства, утверждающую победу формы, дисциплины и гармонии, которые призваны сменить период разрушения, хаоса и разброда.

В гуаши и акварели Красный нарочито иллюстративен. В пастелях он, наконец, обретает власть над человеческой фигурой, и это стано-

вится основной темой и предметом его искусства. Далее, фигура заполняет пространство безгранично, освободившись от деталей, фигура как бы вздувается, вспухает, как воздушный шар. Фигура становится обобщением, избавившись от "литературы", она уходит в сферы абстрактного.

Источниками искусства Красного несомненно является старая живопись эпохи Средневековья и раннего Возрождения, основанная на мифе и символе, а вовсе не на принципах реалистического правдоподобия.

На творчество художника оказал влияние и русский лубок с его изящно-фривольным эротическим содержанием и здоровым фольклорным юмором. Эти два русских источника, кажущиеся взаимоисключающими, и создают его индивидуальный стиль, блистательно острый, остроумный, изощренный образный строй.

Красный — художник иронического мироощущения, остроумно смешивающий высокое сакральное искусство иконы с простонародным массовым искусством ярмарочного лубка. Это смешение у художника приобретает характер маскарада, где некую театральность жизни символизирует маска.

Увлеченный гротескным искусством поздней античности, ощущающий свое эстетическое родство с Лукианом и комедией Аристофана, Юрий Красный утверждает, что тезис Ницше — "Все поистине глубокое и серьезное не может не любить маски" — современен и сегодня»

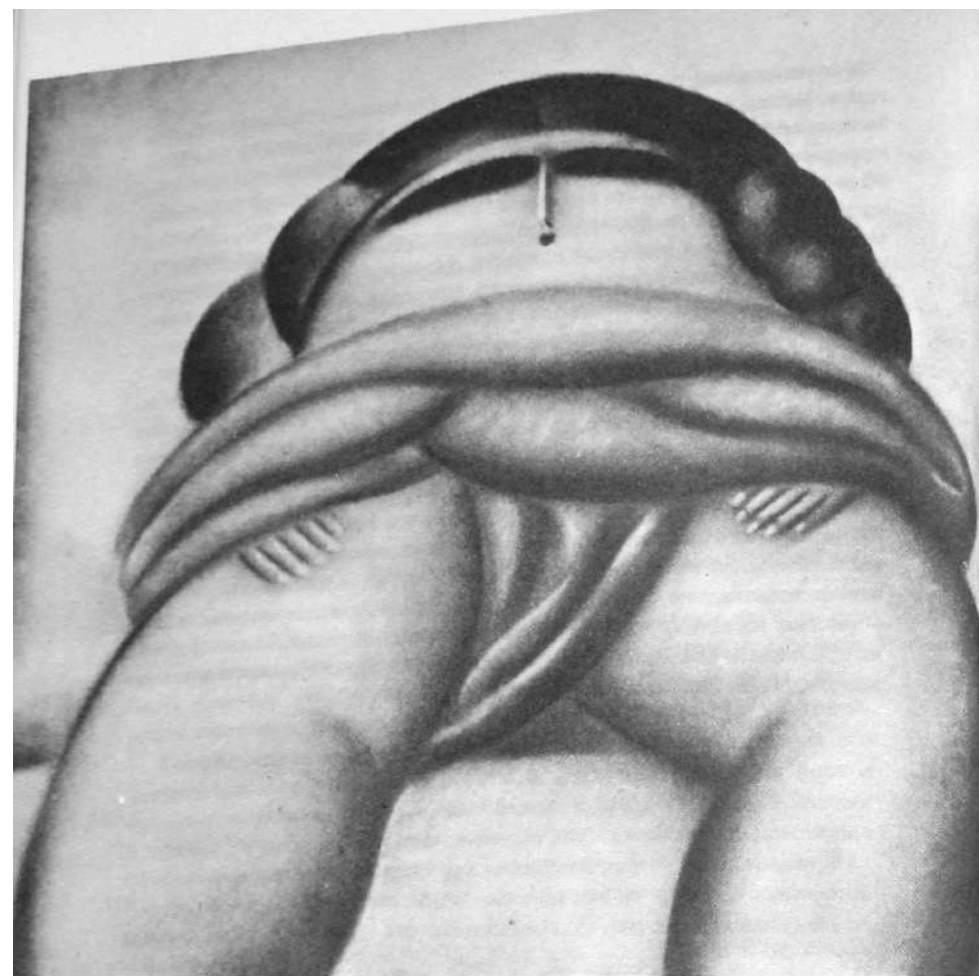
Театральность искусства Красного — во многом следствие его художественного опыта, его работы в мультипликационном кино и кукольном театре. Это, видимо, объясняет его неугасающий интерес к мотиву Куклы, театральному символу *excellence*. У художника обобщенная человеческая фигура интерпретируется как манекен, как Кукла. Его дамы и красотки, чинно сидящие за трапезой с сигаретой в пурпурных ротиках,— это сюрреальные, гнусно хохочущие куколки и манекены.

Создание своего индивидуального символа — знака женского архетипа — пожалуй, самое крупное художественное открытие Юрия Красного. Рубенсовские пышнотелые, дышащие естественным земным здоровьем, красавицы, ренуаровские чувственные дымчато-туманные дамы, неземные, лишенные плоти, женщины-сомнамбулы Дельво, декадентские мечтательные девушки Мари Лоренсен, карикатурные женщины-монстры Ботеро...

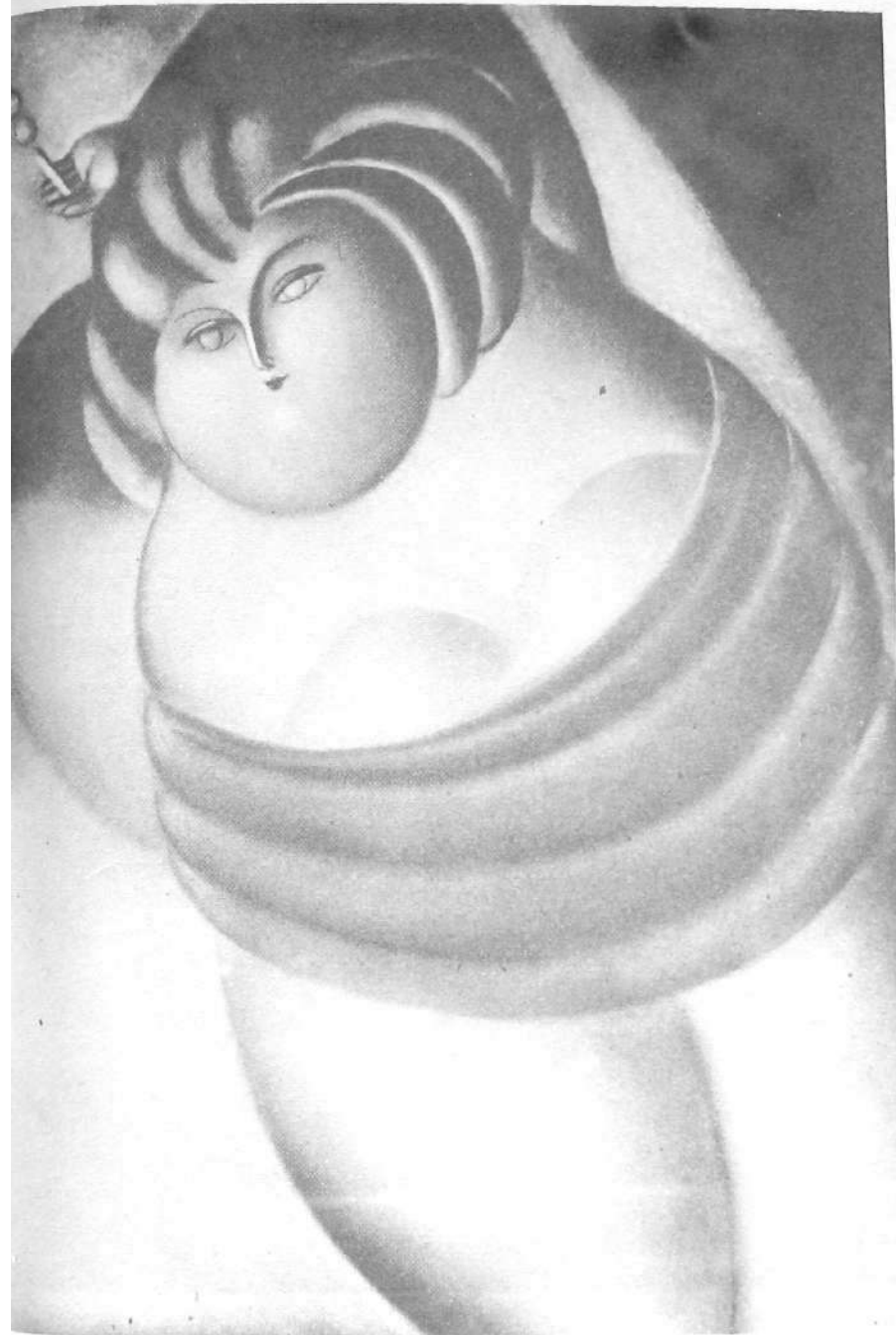
У Красного — женщина-манекен, почти начисто лишенная индивидуальных и человеческих черт, это своего рода идеал чистой формы, грандиозный, надутый, лоснящийся Баллон. Это уже не женский портрет* как традиционно виделась женщина художникам, а символ женского начала — Женщина-Плод, Женщина-Натюрморт, Женщина-Гора, Женщина-Пейзаж. Другими словами, женщина Красного — универсальная модель мира, где женские округлые формы приближаются почти что к формальной чистоте абстрактного видения.

Если художник и использует традицию классического портрета, то только иронически, как пародию на "высокий штиль", когда он изображает своих девиц легкого поведения, фотографических моделей из журналов мод и порнографии, как великолепных торжественных Мадонн и Святых Дев. Это смешение "высокого" и "низкого", "изящного" и "плебейски фривольного" искусства указывает на полное смещение и потерю этической ценности, характерную для современного искусства. Юрий Красный называет этот прием литературным термином "оксиморон". В оксимороне противопоставлены взаимоисключающие понятия, где несерьезное, легковесное трактуется как значительное и в высшей мере серьезное и, напротив, когда возвышенное и великое превращается в легкомысленный пустяк.

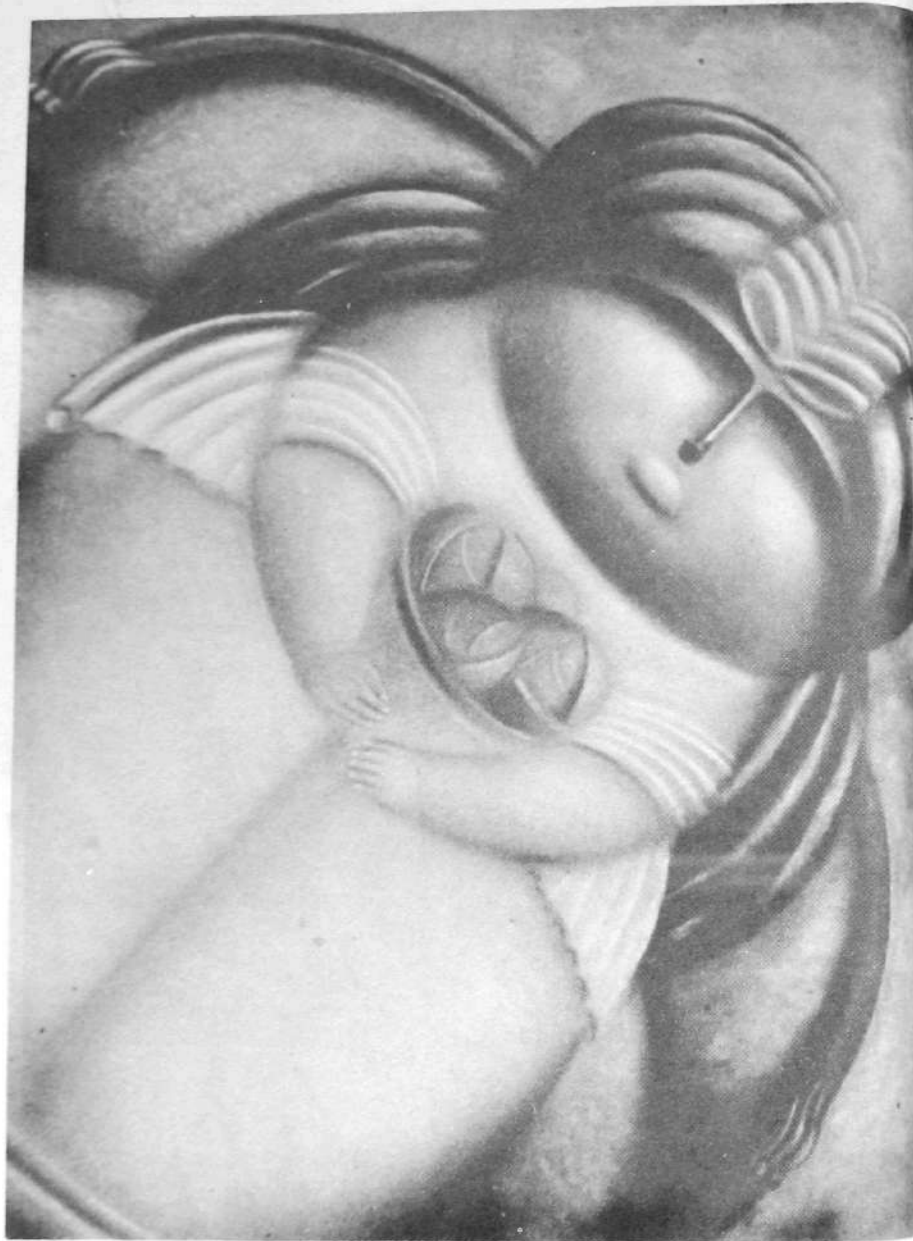
Оксиморон Красного сродни стилизованному юмору, легшему в основу эстетики поп-арта. Отличие искусства Красного от поп-артистического течения, однако, заключается в том, что от обезличенности стереотипного видения он возвращается к забытой гуманистической категории великого искусства прошлого — человечности и любви. Это — ностальгическая любовь к человеческой фигуре, к рисованию, чувственное наслаждение от работы старыми рукотворными материалами, — кистью, пастелью, углем — обновление забытой, ставшей анахронизмом, ценности мастерства, все это возвращает Юрия Красного в русло возрожденной традиции неогуманизма.



Женщина в розовом



Курашар





Компания



Подруги

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел из печати и продается 4 номер "Эхо",
завершающий 1 год издания журнала.

В НОМЕРЕ:

Проза из самиздата: Борис Вахтин, М. Козырева, Владимир Алексеев.

Рассказы В. Марамзина.

*Большие подборки стихов двух ленинградских поэтов
Сергея Стратановского и Александра Миронова.*

Два сонета А. Хвостенко.

Переводы Генриха Худякова из Эмили Дикинсон.

*Отрывок из книги Александра Глезера, статьи Виктора
Тупицына, Петра Вайля и Александра Гениса.*

Добавление: Два типа критики.

Журнал редактируют:

Владимир Марамзин

Алексей Хвостенко.

**Подписка в редакции на 1979 год: 65 франков (4 номера), включая
пересылку простой почтой. Авиапочта — 25 франков дополнительно**

Цена журнала в продаже 20 франков.

**Адрес редакции: "ЭХО" с/о V. Maramzine, 302, rue des Pyrenees,
75020 Paris. Tel. 366.80.31**

**Представитель в Израиле: Ирина Гробман, 28 Ephraim Str. Bak'a,
Jerusalem, tel. (02) 712. 493.**

В потоке редакционной почты все чаще встречаются письма наших читателей из России. Естественно, их отзывы о журнале, их советы и мнения представляют особую ценность для редакции. В этом номере мы публикуем письмо из Москвы одного из видных самиздатовских философов и публицистов — Григория Соломоновича Померанца.

"ВРЕМЯ И МЫ" И ФАНАТИКИ ВСАСЫВАНИЯ

Письмо из Москвы

Я не знаю, рассчитан ли журнал "Время и мы" на такого читателя, как я; возможно, мне нравится как раз то, что другим не нравится: облака отечественного дыма, приглядывание к мировой философской публицистике и попытка измерить глубину собственного невежества относительно страны, в которую судьба занесла русских марранов, опять потянувших с собой в изгнание язык, культуру, заботы страны, из которой они яростно "выдрали когти". Думаю, что сабрам кое-что из этого решительно не может нравиться (по крайней мере, в массе; хотя один из читателей-туземцев, похвалил журнал за "расширение кругозора", другими словами — за беспочвенность).

Впрочем, журнал на русском языке для сабр и не предназначен, и возражения он вызывает, скорее всего, не среди сабр, а среди фанатиков всасывания. Я мог бы возразить им, что нельзя одним волевым актом изменить духовную природу людей, сложившихся в России, и в особенности людей, получивших гуманитарное образование и уехавших с кучей не высказанных на родине, то бишь в диаспоре, идей. Если им не удастся поговорить на русские темы в Израиле, они, пожалуй, уедут...

Кроме того, возможность размышлять о России, сидя в Израиле, очень увеличивает ценность Израиля для евреев, оставшихся в России. Я бы с удовольствием мог побеседовать с Наталией Рубинштейн о том, кто жил жизнью более плодотворной для духа: Мандельштам или Жаботинский. Или просто о Мандельштаме. А о чем мне говорить с фанатиком всасывания? Опыт научил меня не надеяться на перевоспитание фанатиков. Тем не менее, статьи на израильские темы (в том числе статьи фанатиков) я читал с большим любопытством; и еще больше прежнего утвердился в мысли, что понять Израиль ни в пять, ни в двад-

цать пять лет невозможно. Вряд ли его понимают и люди, родившиеся в этой стране. С одной стороны — гомункулус, страна, придуманная Герцлем. С другой — три с половиной тысячи лет истории. Как это соединить? Только открытым вопросом, открытым как? Воплем интеллектуального Иова, на который когда-нибудь, авось, ответит голос из бури.

Хорошо, по крайней мере, то, что Перельман не знает, "что такое хорошо" и "что такое плохо", и печатая рядом статьи Левиной и Орлова, не объясняет читателю, кто из них прав. На меня крайне неприятное впечатление произвели комментарии редакции "Континента" к ответу Плюща на письмо Ходорович. И хотя я успел ругнуться по этому поводу в примечании к эссе "Сон о справедливом возмездии", невольно ругнулся еще раз.

Общий дух "Времени и мы" — европейский, Западный. Терпимый. В том числе к нетерпимости. Мне было очень трудно усвоить именно эту последнюю терпимость, когда я писал "Сон", но несколько шагов я сделал куда нужно, и я понимаю, как это трудно.

К сожалению, многое в журнале мне не попало (большая часть Ильи Рубина, Зинник, кусок "Счастливого нового мира"); из того, что прочел, понравилась проза Хазанова, запомнился Довлатов, рассказ о летающих людях, грацианах (фамилию автора забыл). Из эссе — больше всего Синявский (про значение жеста). По-моему, он сохраняет первое место в этом (моем собственном) жанре, хотя, у него есть опасные конкуренты (опять-таки Хазанов).

Повторяю, что И. Рубин большею частью прошел мимо меня; не знаю его достаточно и не могу оценить. Понравилась Наташа Рубинштейн (несмотря на некоторую прямолинейность: но если считать ее по ведомству публицистики, то это входит в норму); с некоторыми оговорками и Майя Каганская. Все, что подписано этим именем, читаю, но при этом смотрю сквозь пальцы (не очень мешает, но все-таки мешает) на форсированность стиля. И хочется возразить на эгоцентрическую склонность прихватывать себе и своему поколению даже "Золотого теленка". Хотя объясняет она обаяние И. и П. интересно, и я могу добавить, что ее концепция подходит и к популярности (среди школьников моего поколения, читавшего "Теленка" в журнале "продолжением следует") еще одного великого писателя: Козьмы Пруткина. Афоризмы К. П. были для меня началом философской мысли.

Из переводов понравилось "Тропой динозавра", а другое эссе Кестлера — нет. По-моему, неполноценность человека не биологическая, а духовная, и ее можно преодолеть. Хотя очень трудно и не очень вероятно (скорее динозавр издохнет).

Григорий ПОМЕРАНЦ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Биографические данные приводятся во вступительной статье Ефима Эткинда.

Игорь БУРИХИН. Биографические данные неизвестны. Рукопись пришла по каналам Самиздата.

Илья БОКШТЕЙН. См. журнал № 33.

С МАСЛОВ. Биографические данные неизвестны. Рукопись пришла по каналам Самиздата.

Дора ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском Университете. В Израиле — с начала 1977 года.

Петр ВАЙЛЬ. См. журнал № 40.

Александр ГЕНИС. См. журнал № 40.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. Родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в левосоциалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества Дружбы "Израиль-СССР", из которого вышел в 1956 году в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выступает на страницах израильской рабочей печати.

**УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ"
1979 ГОД**

С 20 июня 1979 года установлены новые условия подписки в Израиле. Цена годовой подписки (12 номеров) — 894 лиры. Годовую подписку можно оплатить в 3 чека. Первый — выписывается на день подписки, последний — не позднее сентября. Цена полугодовой подписки — 498 лир. Можно оформить в два чека. Первый — на день подписки, второй — не позднее августа. Заказы и чеки высылать по адресу: Почтовый ящик 24123, Тель-Авив. Чеки можно выписывать по-русски. Прежние условия подписки отменяются.

За рубежом сохраняются прежние подписные цены:

В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев — 24\$, на 12 мес. — 48\$.
(авиапочта — 96).

ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев — 99 F.FR., на 12 мес. — 198 F.FR. (авиапочта — 350).

В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)
на 12 месяцев — DM 92 (авиапочта — 176}.

Стоимость подписки установлена с учетом того обстоятельства, что "Время и мы" будет и в дальнейшем выпускаться как иллюстрированный литературно-публицистический журнал, выходящий каждый месяц, единственный журнал такого рода издаваемый на Западе.

Устанавливая новые условия подписки, редакция считает необходимым подчеркнуть, что введение новых цен в условиях существующего числа подписчиков и отсутствия субсидии со стороны государства является единственной возможной мерой для продолжения существования журнала. Со своей стороны мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще выше поднять уровень журнала и сделать еще более интересным для читателя наше издание.

СООБЩАЕМ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, ПОДПИСЧИКАМ И АВТОРАМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ", ЧТО РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНИЛА АДРЕС НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: УЛИЦА ШЕНКИН, 26, ГИВАТАИМ. ТЕЛ. (03) 72-58-40.

ПИСЬМА И КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Л. Я. 24123, ТЕЛЬ-АВИВ.

ВРЕМЯ И МЫ" — 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу,

Приложен чек.....

Подпись..... Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, TelAviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу

Приложен чек.....

Подпись..... Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

TelAviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.
Тел. (03) 72-68-40.
26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби", Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

Художник Лев Ларский
Корректор и литературный редактор Ася Левина
Технический редактор Наталья Рубина

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Юрий Красный "Ева".

